

ВАЛЕРИЙ ХАЙРЮЗОВ



## РАСКУЛАЧИХА

ПОВЕСТЬ

ДОБРОЛЁТ

Почему я решил поселиться в Добролёте? Понравилось название — хорошее, лётное: залететь, сесть, а потом вновь в небо! Место тихое, не оттоптанно дачниками, сверху, из кабины самолёта, похожее на серую птицу, которая, пролетая, решила присесть на берегу тонкой, как листовничная ветка, реки Ушаковки. Если ехать по дороге, эту деревеньку проскочишь за один вздох и не заметишь. Но те, кто впервые пришли в эти таёжные места, были не лишены наблюдательности и даже поэтического чувства, вокруг названия, как в песне: Поливаниха, Аракчей, Солонянка, Чёрная речка, Сухая речка, Змеиная гора. Лучшего места, чтоб разгрузить от городской суеты голову и занять руки, найти трудно. В прошлом этот лесной кордон в основном заселялся сосланными кулаками, бывшими военнопленными и спецпереселенцами со всей страны, деревню иногда обзывали Раскулачихой, чаще всего, для внутреннего пользования...

Впервые я попал в Добролёт по приглашению писателя Вячеслава Шугаева, поскольку, сам того не подозревая, помог приобрести ему в этом заброшенном лесном кордоне полуразвалившуюся деревенскую школу.

Во время очередного рейса в северный посёлок Витим мне предложили щенка сибирской лайки. Вспомнив, что через два дня у Шугаева день рождения, я взял щенка и, согласно традиции, отдал за него металлический

---

*ХАЙРЮЗОВ Валерий Николаевич родился в 1944 году в г. Иркутске. Окончил Бугурусланское лётное училище. Летал командиром корабля, пилотом-инструктором. В 1981 году окончил Иркутский государственный университет. Автор нескольких книг. Лауреат премии Ленинского комсомола. Член Союза писателей России. Живёт в Иркутске.*

рубль. Шугаев отдал щенка директору лесхоза, а тот предложил Вячеславу взять на дрова старую, бревенчатую, с двумя печами и с девятью окнами, бывшую деревенскую школу. Валить, пилить и сжигать школу Шугаев не стал, а приспособил её себе под дачу. Расчёт был прост: каждый уважающий себя писатель, да ещё мечтающий попасть в пантеон, должен иметь своё Болдино или Ясную Поляну, поскольку дача для писателя — это как название парохода, под флагом которого он намеревался приплыть к своему читателю.

После я несколько раз приезжал к нему поговорить о житье-бытье, побродить по тайге с ружьём и показать свои первые рассказы. Свет в Добролёте давали от дизеля, до десяти часов вечера, и Шугаеву частенько приходилось работать при керосиновой лампе. Был он заядлым охотником и мечтал, как Иван Тургенев, написать свои охотничьи рассказы. От него я узнал, что когда-то Добролёт был крупным поселением: работала мельница, пилорама, дети ходили в школу, каждое воскресенье в клубе показывали кино. Вот только дорогу в город трудно было назвать дорогой: разбитая лесовозами, она напоминала полосу с препятствиями. Говорили, что раньше на лошадях до областного центра добирались почти за сутки. В самом топком месте, где дорога шла через болотную низину, лежнёвку из брёвен укладывали работавшие на лесоповале пленные японцы. Потом народ начал уезжать в город, была остановлена и разобрана мельница, закрыта школа, а на дверях клуба повесили замок. Лесной кордон начал хиреть и угасать прямо на глазах.

Когда я впервые приехал к Шугаеву, то в Добролёте жили всего восемнадцать человек, но мне место приглянулось: крепкие постройки, большие огороды, обширные покосы, и даже брошенные на склоне горы дома с заколоченными окнами, покосившимися заборами не портили общего впечатления. Тем более что рядом с деревянной стеной стоял лес: сосны, берёзы, ели, кедры и лиственницы, вокруг грибы и ягоды, не надо ходить и ехать далеко, всё рядом, всё под боком. Мне даже показалось, что здесь и звёзды ближе, и вода вкуснее, а воздух, так его хоть с чаем пей.

Каждое утро деревеньку будили коровы. Без пастуха и постороннего догляда они пощипывали траву, отмахиваясь хвостами от надоедливых оводов и паутов, неспешно двигались вслед за солнцем вдоль широкой зелёной улицы, чтобы скрыться в ближайшем лесочке. Вечером стадо вновь выходило на дорогу и возвращалось обратным путём к домам, где их ждала вечерняя дойка. Парное молоко, сметана, яйца, свежая рыба были хорошей компенсацией воде из-под крана и тёплому туалету. Даже отсутствие электричества придавало Добролёту особую пикантность. Когда посёлок погружался в темноту и на сосны ложились близкие звёзды, я думал: хорошо, что есть ещё на свете такие места, где тебя не донимают телефонные звонки, нет шума проезжающих трамваев и машин, криков соседей по подъезду, толкотни на автобусных остановках и в магазинах. Мне нравилось сидеть с Шугаевым и говорить о литературе, о крепком и цельном характере сибиряков и вспоминать разные охотничьи истории...

— Отсюда, при свете керосиновой лампы, лучше видно настоящее, — говорил Шугаев. — Начинаешь лучше понимать и чувствовать, что мы приобрели и что потеряли в сегодняшней жизни.

Литературу он называл калькой настоящей живой жизни. Это всё равно, что глобус для школьника, когда ему на уроках по географии объясняют, как устроена наша планета. Продолжая его мысль, я, улыбаясь, сравнивал её с лежащей на коленях полётной картой, где настоящая земля нанесена и отпечатана на бумаге, а настоящая живая, занесённая снегом, с дорогами и лесами, проплывает где-то там внизу под самолётом.

Вспоминая своих, как он выражался, товарищей по литературному цеху, Шугаев говорил, что широко зазвучавший в последние годы Виктор Астафьев в своих повествованиях поставил к каждому рассказу эпиграфы англоязычных авторов, которые выглядят, как импортные помочи к штанам ребёнка.

Я слушал безапелляционные оценки с некоторым недоверием, удивляясь его смелости, и думал, что разрушать устоявшееся впечатление всегда легче, чем построить что-то собственное...

— Когда мы с Вампиловым поехали покорять Москву, то жили на даче писателя Костюковского в Пахре, — рассказывал Шугаев. — Нашим соседом оказался живший поблизости Александр Трифонович Твардовский. По вечерам, прогуливаясь, он заходил к нам. Узнав, что мы начинающие писатели-сибиряки, он попросил показать что-нибудь. Ну, я ему сказал, что моя повесть лежит в журнале “Юность”. Однажды, когда я вернулся ни с чем из Москвы, Вампилов сказал, что был корифей и велел, чтоб я срочно ехал в “Юность”, где меня ждёт главный редактор Борис Полевой. Тот встретил меня с любопытством, спросил, откуда я знаком с Твардовским. Я благоразумно промолчал, мне предложили подписать договор, зайти в каску и получить аванс. Такого поворота, такого подарка от Твардовского я не ожидал. Мы тогда в этой Пахре у Костюковского доедали последнюю картошку. Так что в жизни часто всё решает случай. Приехал я с покупками из Москвы, сели за стол. Саня вдруг говорит, представь себе, старик, швейную фабрику. Тысячи женщин сидят за машинками и шьют. А здесь на этих дачах сидят сотни писателей и строчат клавишами. Пишут повести, романы, издают миллионные тиражи книг. Сколько леса надо спилить, чтобы обеспечить тиражи бумагой. А можно писать коротко, но ёмко, как это делал Чехов. Писатель, складывая себе дом из слов, жаждет владеть всем миром, а вот женщине достаточно семейного очага.

— Но чтоб над этим очагом был весь мир, — уточнял я. — Со всеми поэтами и другими творцами. Где есть всему своё начало и свой конец.

И Вячеслав рассказал, как Твардовский хоронил свою мать.

— Приехал Александр Трифонович на кладбище заказывать могилку умершей матери. Ну, ему кладбищенские рабочие говорят: “Отец, земля не отошла. Смочить бы надо. — Сколько?” — спросил Александр Трифонович. — “Литровку! — Ну что ж, литровку так литровку. Лишь бы скорее...”

Далее Шугаев хорошо поставленным голосом, раздельно, с театральной грустью прочитал стихи самого поэта:

*Они минутой дорожат,  
У них иной, пожарный, навык:  
Как будто откопать спешат,  
А не закапывают навек.*

.....  
*Ты ту сноровку не порочь —  
Оправдан этот спех рабочий:  
Ведь ты и сам готов помочь,  
Чтоб только всё — ещё короче.*

Я видел, что и сам Шугаев спешил жить и писать, чтобы всё у него было быстрее и короче, ревниво приглядывая за публикациями своих коллег. В те времена его имя упоминалось едва ли не чаще имени Валентина Распутина, с которым он вместе ездил по области, тогда их очерки и рассказы ещё печатались под одной обложкой. И всё же мне казалось, что примером для подражания Вячеслав выбрал Ивана Тургенева, барина и охотника, особенно это бросалось в глаза, когда Шугаев начинал рассказывать про деревенских. Здесь хитроватый, любивший порассуждать на международные темы сосед Богдан Фёдорович Хорев, который после войны попал в эти края малолетним подростком с Тернопольщины, стал для него чем-то вроде тургеневского Хоря, а неведомого мне деревенского охотника и тракториста Кюло Речкина он называл Калинычем...

— Когда я сюда приехал, мне показалось, я попал в рай, где тишь да благодать, и другому не бывать, — с усмешкой шурился Шугаев. — Но когда пригляделся, прислушался — понял: отношения здесь не менее сложные, чем, скажем, между английским и мадридским дворами. Бывает, от крохотной обиды, одного неосторожно сказанного слова люди годами не разговаривают друг с другом. До сих пор не пойму, какая кошка пробежала между Хоревым и Речкиным? Чего делить — тайгу? Ей края нет, места всем хватит. А вот живут рядом, и — как на ножах!

Задержаться надолго и стать настоящим барином Шугаеву было не суждено. Известный романист, автор “Вечного зова” Анатолий Иванов предложил Вячеславу возглавить отдел прозы журнала “Молодая гвардия” с предоставлением московской квартиры, и Шугаев, так и не написав своих охотничьих рассказов, бросил всё и улетел в столицу. Оказалось, что не только чеховские “Три сестры” мечтали перебраться в Москву. Года через два после своего отъезда он неожиданно предложил мне купить его добrolётскую дачу.

— Бичи начали лазить, — пожаловался он, — чего доброго, сожгут. Бери — не прогадаешь! — И запросил за школу, на которую, кстати, не было никаких документов, приличную сумму. “Что ж, всё, как и везде: за вход — рубль, за выход — три”, — хмыкнув, подумал я. И мы ударили по рукам. Оформление документов на дом и участок потребовало нервов, времени и денег, но я посчитал, что овчинка выделки стоит, всё равно здесь лучше, чем сидеть на шести сотках в садоводстве.

## СТАРАЯ ШКОЛА

В Добrolёт я приехал на машине, набитой до отказа собранными для дачной жизни вещами. И сразу же столкнулся с неожиданным препятствием: свернув с дороги, я не смог въехать во двор: всё заросло черёмухой. Я оставил машину, открыл дом, отыскал расхлябанный топор, на который можно было садиться и ехать верхом, кое-как размочаливая корни, вырубил загораживающие дорогу кусты, сгрёб их в кучу и свалил на поляну перед домом, затем принялся разгружать привезённые узлы и коробки. Откуда-то появились собаки, обнюхивая узлы, они, как таможенники, начали следить и провожать глазами каждую коробку, каждый узел, которые я заносил в дом. Следом появились любопытствующие соседи. Одну из них — Веру Егоровну Хореву — я хорошо знал, у неё Шугаев покупал молоко и нередко перед приездом из города просил протопить печи. На ней был белый льняной платок, и вся она была завёрнута и застёгнута на все верёвочки и петельки, глаза блёклые, но всё ещё остренькие и любопытные, юбка серенькая, широкая, аж до самой земли, из-под которой виднелись тупые носы тёмных калош. Откуда ни возьмись, видимо, привлечённый возникшим движением возле старой школы, появился молодой, губастый парень в камуфляжной форме и высоких кожаных берцах.

“Для леса и села одежда что надо, удобная, практичная, — оценил я, — сразу видно, человек носит её по долгу службы”. И не ошибся. Губастый хозяйским начальственным голосом спросил, кто я и какое отношение имею к этой школе.

— Я теперь здесь буду жить, — сообщил я. — А кто вы?

— Алексей Старухин, лесник. Ты вот что, зайди в контору со всеми своими бумагами: план, купчая и всё прочее, — пожевав губами, точно пробуя и проверяя мои слова на вкус, сказал он, и, оглядев привезённые из города вещи, остановил свой взгляд на этюднике:

— А это что за хреновина?

— Это для работ красками, когда ходишь на пленэр, — пояснил я и, увидев, как наткнувшись на незнакомое слово, лицо его замерло в некотором размышлении, добавил: — Это, как ружьё для охотника, удобно и легко.

— Да, я знаю, — буркнул он. — По-нашему — мазюлька. Туды-сюды. Я был знаком с одним художником. Ему что забор покрасить, что окна. Лишь бы платили. Мы его нанимали в конторе плакаты рисовать. Намалевал — смотреть страшно!

Перетаскав вещи, я вышел на крыльцо и огляделся. Поляна, на которой когда-то принимали в пионеры, заросла травой, по углам и вдоль забора она была завалена бытовым мусором, банками, вёдрами, коробками, полусгнившими досками, чурками, чуть в стороне из травы торчала ржавая печь, которой ещё до Шугаева пользовались приезжающие из города на лесозаготовки

сезонные рабочие. Установив этюдник, я поставил на него холст и, чтобы настроить себя на рабочий лад, сделал набросок школы. Я знал, что после Шугаева на даче некоторое время жил Степан Кокулин, к нему летом приезжала отдохнуть на природе его дочь. На поляне, где в прежние времена провожали детей в первый класс и крутилась школьная жизнь на переменах, они жарили шашлыки и устраивали шумные вечеринки. Осматривая дачу, чтобы понять, что же мне досталось в наследство от прежних хозяев, я обнаружил, что бревенчатые сени были завалены старой одеждой, фуфайками, дождевиками, куртками, заставлены обувью, старыми лыжами — всем, с чем было жалко расставаться, всё из города свозилось сюда, загромождало проход. С того времени, когда я в последний раз приезжал сюда, здесь ничего не поменялось, стало только ещё хуже и беспризорнее.

В самом доме на запылённых полках на меня глянули подписки журналов “Новый мир”, “Наш современник”, “Зарубежная литература”, “Молодая гвардия”, чуть сбоку отдельной стопкой — подписанные Шугаеву книги друзей и сборники начинающих поэтов и писателей. Перебрав их, я нашёл тонкую книжицу самого Шугаева, в которой был очерк о его поездках на Подкаменную Тунгуску в северный посёлок Ербогачён, где мне особенно запомнился эпизод, как перед самым Новым годом в оленьей парке тунгуса он прилетел в Иркутск и пошёл пешком по заснеженным улицам, пугая своим видом прохожих и собак. До сих пор я считаю, что это был один из лучших очерков, написанных им.

В большой классной комнате, как бы подтверждающей его творческий замах, сохранилась широкая, толстая струганая доска, приделанная к стене вдоль окон на уровне стола. Показывая её, Шугаев двумя руками делил стол на части: вот здесь, слева, у него будут лежать заготовки для романа, посередине он будет писать повести и рассказы, а в дальнем углу — статьи, очерки и письма. Меня позабавил такой достаточно непривычный новаторский подход к своему творчеству, чем-то его движения напомнили мне разделочный стол — здесь будет голова, здесь тушка, а там хвост. Меня так и подмывало спросить, а с какой стороны будет подходить прислуга и где будет стоять наждак, чтобы затачивать стальные перья. Из-под этой массивной доски, как плаха для лобного места, я вытащил связанную бечевой ещё одну стопку книг, развязал её и обнаружил увесистый книжный клад: на запылённых кожаных корешках можно было прочесть, что передо мной дореволюционное издание Толкового словаря Даля, несколько томов словаря Брокгауза и Эфрона, далее — солидный кожаный корешок “Мужчины и женщины” 1896 года выпуска, “История тайной канцелярии Петровских времён”, географические сборники “Земля и люди”, воспоминания дореволюционных писателей, мемуарная литература и такие приятные и знакомые с детства названия: “Робинзон Крузо”, “Остров сокровищ”, “Дерсу Узала”, охотничьи рассказы Чарльза Робертса и Сетон-Томпсона. Здесь же внизу на полу лежали книги, названия которых мне были не известны: “Нюркин князь”, “Через трупы врага на благо народа”, “Место праведных грешниц”, “Поступай, как женщина, думай, как мужчина” Стива Харви и “В подвале можно встретить только крыс”. На некоторых из них был штамп библиотеки политкаторжан и ссыльнопоселенцев.

В углу, где предполагался цех по написанию очерков и рассказов, я наткнулся на обтянутый кирзовый тканью коломенский патефон 1935 года выпуска, а рядом с ним обнаружил коробку пластинок в бумажных конвертах с записями Фёдора Шаляпина, Изабеллы Юрьевой, Леонида Утёсова, Лидии Руслановой, Марио Ланца, Георгия Виноградова, Сергея Лемешева, Петра Лещенко, Клавдии Шульженко, Владимира Трошина, Нины Дорды, Ружены Сикоры, “Жизнь за царя” Михаила Глинки. Больше всего меня заинтересовали пластинки с песней из кинофильма “Рим в 11 часов” “Amado Mio” и пластинка, сделанная ещё на фабрике “Пятилетка Октября”, с записями песен Ежи Петербургского. Открыв крышку патефона, я ручкой завёл патефонную пружину, потрогал пальцем иглу, поставил головку мембраны на пластинку и отпустил тормоз.

*Утомлённое солнце  
Нежно с морем прощалось.  
В этот час ты призналась,  
Что нет любви.*

В такт этому довоенному танго двигая плечами, я с серьёзным выражением лица, — подражая своему отцу, когда он приглашал на танец мою мать, — прошёлся по взгорбленному полу и, резко развернувшись, уже подсмеиваясь над собой, двинулся обратно к древнему музыкальному ящику. Наконец-то сбылось то, о чём мечтал: у меня есть место, пристанище, где можно писать, танцевать, рисовать, делать, что хочешь...

“Со временем любовь не заканчивается, она приобретает другие черты и новое наполнение”, — думал я, и для полноты счастья установил рядом с патефоном этюдник, водрузив на него начатую картину, которая бы напоминала, что, приехав в Добролёт, я открыл новую страницу своей жизни.

После, почему-то вспомнив, что в доме ещё есть не обследованное подполье, пошёл на кухню, которая была когда-то учительской, приподнял топором древесную плиту и обнаружил под ней в полу лаз, которым за ненадобностью, видимо, уже давно не пользовались. Из глубокой колодезной темноты пахнуло холодом, сыростью и плесенью. Ведущая вглубь подвала лестница подгнила, но я всё же сумел спуститься вниз. Подсвечивая себе фонарём, начал осмотр, на всякий случай, держа в памяти название книги, автор которой утверждал, что в подвале можно встретить только крыс. Неожиданно в дальнем углу вместо крыс увидел серую мешковину. Потрогав её пальцами, почувствовал холодную твёрдость металла, развернув, обнаружил двустволку. Бескурковка, двенадцатый калибр. Что и говорить, это была серьёзная находка! Шугаев был страстным охотником, любил, когда ему дарили ружья, но почему он не взял ружьё с собой в Москву? Загадка. Присев на ступеньку, я стал размышлять, что же мне делать с этой находкой. Оставить в подполье или перепрятать в другое место? Да пусть лежит здесь, решил я и выключил фонарь. Поднявшись наверх, обнаружил, что день пролетел и в дом уже вползли сумерки. Пощёлкав выключателем и обнаружив, что в доме нет света, я вышел на крыльцо и увидел, что в домах на горе свет был. Светилось и окно в конторе, значит, лесничий на месте.

“Что ж, надо идти и знакомиться”, — подумал я и, натянув кожаную куртку, потопал в контору.

## ЛЕСНИЧИЙ

Открыв дверь в контору, я чуть не столкнулся с губастым парнем, в котором признал заходившего ко мне во двор Алексея Старухина, когда я выгружал привезённые из города вещи. Он, как и во дворе, с холодным любопытством оглядел меня и, протопав по давно некрашенному полу, протянул своему начальнику кружку с кофе.

Стол, за которым сидел лесничий, был с точёными ножками, на покрытой лаком столешнице тёмными пятнами выделялись круги от кипятильника. На стене, должно быть, ещё с давних советских времён, висел календарь.

“Лес наше богатство. Берегите его!” — прочитал я на плакате и чуть ниже увидел художественную работу: горящий лес, бегущих зверей и большими красными буквами выведено: “Пожар легче предотвратить, чем потушить!”

Лесничий был далеко не молод, худощав, коротко стрижен. От Веры Егоровны я знал, что фамилия у него Ощепков, но местные называли его по отчеству — Фомичом. Он вопросительно глянул на меня — я знал, что к нему приезжает немало людей, и должно быть, он пытался понять, что за птица залетела к нему в столь поздний час.

Понимая, что к лесничему ещё придётся обращаться с разными просьбами, я захватил с собой “входной взнос” — бутылку монгольской “Архи”, которую предусмотрительно положил в портфель.

— Вам чего? — спросил лесничий.

— Я здесь купил дом, — пришлось раскрыть карты. — В бывшей школе.

— А-а-а! Дачник? — с непонятной и обидной ноткой в голосе протянул лесничий. — Её давно пора на дрова. Сгнила. Того и гляди, завалится.

— Ну, на дрова не на дрова... Придёт время — распилю, — и сделал паузу. — У меня к вам просьба: скомандуйте, пожалуйста, пусть дадут мне свет! Сегодня приехал, нет света.

— Да, мы обрезали провода, — подтвердил лесничий. — В соответствии с требованиями пожарной безопасности. Замкнёт, полыхнёт — весь Добролёт сгорит.

— Чего возмущаешься? — влез в разговор Старухин. — Всё по закону.

— Я не возмущаюсь, я прошу, — примирительно развёл я руками, поглядывая на календарь, который напоминал, что пожар легче предотвратить, чем потушить.

— А я, туды-сюды, попрошу убрать с дороги мусор, — в голосе молодого лесника почувствовался рык собаки, когда во двор пытается войти посторонний.

Честно говоря, я не ожидал, что мне с порога напомнят, кто есть кто в Добролёте.

— Чего там гору из веток набросали? Ну, рубите черёмуху, так не заваливайте посёлок! — повысил голос Старухин. — Там уже, поди, крысы или змеи завелись!

Разговор накренился и стал переходить в опасную для меня плоскость, чтоб не сгораяча не наломать дров, я решил дать задний ход. Ну, не получился разговор, получится в другой раз.

— Ветки убери, — пообещал я.

— И ещё у вас там за свет должок, — напомнил Ощепков, — за три года.

— Так я только сегодня заехал! Не пойму, когда за свет успело набегать?

— Приобретая дом, вы приобретаете всё остальное, в том числе и долги, — глядя куда-то в сторону, заметил Ощепков. — Если не согласны, пусть оплатят прежние хозяева. Свет подключаем не мы. Вызывайте электрика или монтажника. Надо поставить счётчик, чтоб всё было законно. — И, помолчав немного, добавил: — Кстати, не могли бы вы показать все документы на участок? План, домовую книгу и всё, что там положено.

— Я его уже предупреждал, — влез в разговор лесник.

— Хорошо, — согласился я, — но чуть позже, все бумаги у меня в городе.

— Вот попозже и будем разговаривать.

Поняв, что меня здесь не очень-то ждали, я всё же обратиться ещё с одной просьбой:

— Мне нужны брёвна и несколько досок. Хочу подвести под дом оклад. Я заплачу.

— У меня сейчас леса нет, — немного подумав, ответил Ощепков. — За пиломатериалом очередь на полгода вперёд.

— Мне несколько брёвен, — я подумал, если попрошу немного, то, может быть, и дадут.

— Русским языком говорю! Зайди через месяц, — жёстким голосом отказал лесничий. — Надеюсь, за это время ваш сарай не упадёт?

Я на секунду задумался, глянув в угол, где на полу скопилось пустая стекляннная тара. “В Добролёте приходится быть не только писателем, но и дипломатом, — любил говорить Шугаев. — Надо помнить и знать, что просящий зависим ещё с порога”.

“Может, всё-таки вручить ему презент?” — мелькнуло у меня в голове. Но наткнувшись на холодный взгляд молодца в берцах: понял, здесь и сейчас это будет неуместно. Ну, не слепился разговор, бутылкой его не склеишь, здесь всё понятно: чем с тобой строже, тем тебе дороже!

Вернувшись в дом, я разыскал в кладовке керосиновую лампу, зажёл фитиль, прикрыл его ламповым стеклом и неожиданно увидел на белёной стене свою согнутую тень; она повторяла все мои движения, и мне почему-то стало жутковато, точно рядом со мной в пустой комнате появился двойник. Всего-то минута делов — и я попал в своё далёкое детство, когда доставал из школьной сумки тетрадки и при керосиновой лампе садился за стол делать уроки.

Дверь тихо скрипнула и провалилась в темноту сеней. Краем глаза я успел заметить, как мигнул оранжевый лепесток пламени в керосиновой лампе, и, точно в немом кино, я увидел на пороге тёмную, похожую ещё на одну настенную тень фигуру человека.

— Здравсьте! — тень обрела плоть. Вошедший откашлялся, вытер рукавом губы. — Шёл мимо, гляжу — лампа светит. Решил зайти, познакомиться...

Рукав помог мало, слова, с задержкой цепляясь и накатывая друг на друга, упали в пустоту комнаты. Дрогнуло сердце, я с испугом посмотрел на вошедшего — сгорбленный, худой, с отжёванным ухом, взгляд диковатый, исподлобья, как у собаки из будки. И тут я увидел в руке у вошедшего топор! “Вообще-то знакомиться с топором не ходят”, — мелькнуло у меня в голове, и тут же вспомнил, что можно думать, как женщина, но поступать, как мужчина, и потянулся рукой вниз, чтобы чуть что выхватить из-под себя табуретку.

Точно подслушав мои мысли, незнакомец всё тем же глухим, но миролюбивым голосом сообщил:

— Я из конюшни шёл, гляжу — огонёк. — И, качнув топором, добавил: — У нас это, как тебе сказать, во дворе топоры на ночь не оставляют. Да и топирище так себе, хлябает, болтается, как дерьмо в проруби. Советую поменять.

Замечание было верным: топор я действительно оставил во дворе и тут же выругал себя, что не запер дверь на крючок. Мне казалось, чего запирать, здесь же не в городе! Тут же вспомнил, как Вера Егоровна напомнила мне, что надо бы огородить участок забором, а то двор стал проходным двором, собаки и коровы заходят на школьную площадку, как к себе домой. Надо бы заказать ставни на окнах.

Я вспомнил, что Шугаев, когда жил на даче, хотел заказать себе ставни, но как-то у него до этого не дошли руки.

— Ночью, когда сидишь за керосиновой лампой, а сзади тебя тёмные окна... Как-то не по себе, — поёживаясь, говорил он. — Ты весь как на ладони.

— Самые бесполезные вещи в мире — это замки, крючки и заборы, — сказал я тогда. — Если что, они никого не остановят.

— Возможно, — подумав немного, соглашался Шугаев. — Народ в Добролёте особый. Большая часть раскулаченные и сыльные бандеровцы. Ещё угнанные во время войны в Германию, которых потом прямым ходом привезли под конвоем сюда; чуть позже другую часть обстроили и обжили понаехавшие татары. Когда я сюда перебрался, мне показалось, что попал в сонное царство: тихий, живущий натуральным хозяйством и тайгой деревенский люд. Ну, браконьерят, кого этим удивишь! До Бога высоко, до власти далеко, а тайга вот она, рядом. Живут каждый наособицу, за своим забором. Из коренных, кто родился в Добролёте, остался один — Коля Речкин. В лесспромхозе Коля работает трактористом. Могу сказать, мастер на все руки: кому надо запаять, залудить, подковать лошадь, привезти дров, распилить брёвна, поднять упавший столб, отремонтировать мотоцикл или машину — все идут к Речкину. Прошлой осенью мы ездили с ним на Бадан. Дорога туда — чёрт ногу сломит, на машине не доберёшься, только на тракторе. Коля завёл своего железного коня, и мы поехали. Добыли пару изюбрей. Пошёл снег. Надо выбиратья. Погрузились на трактор и тронулись. Где-то на полпути трактор заглох, кончилась сольерка. Что делать? Ночь надвигается, холодно, температура минусовая. Скачу вокруг трактора, зуб на зуб не попадает, ночевать в тайге мы не планировали. Коля отвинтил пробку заглянул в бак и даёт мне ведро.



— Зачерпни из лывы водички, — попросил. — Постарайся без грязи. Я сходил, подал ему ведро с водой. Гляжу, а он её в топливный бак начал наливать.

— Ты чего, на воде решил ехать?!

— Соляра в баке есть? Есть! Но на самом доньшке. Её поднять надо, — ответил мне Коля и коротко объяснил: — Вода тяжелее, она ляжет на дно, солярка поднимется, её насос и затянет. У топливного бака выходное отверстие смонтировано выше дна.

И, можешь себе представить, Коля запустил трактор и потихоньку, по-маленьку дотянул до деревни. Ну, ни дать ни взять — тургеневский Калиныч, простодырый, мастеровой, безотказный и с понятием.

## КОЛЯ РЕЧКИН

Столь поздним визитом я был обязан именно Коле Речкину. Его я узнал по тому описанию, которое оставил мне на память Вячеслав. Что такое, как говорил Шугаев, человек с понятием, я так и не определил, да и в рамки Калиныча мой поздний гость как-то не вписывался. На мой взгляд, ему больше бы подошла кличка Горыныч. Да и сами деревенские о нём говорили разное: одни утверждали, что такой голову оторвёт и недорого возьмёт, другие, наоборот, жалели его, утверждая, что Коля бессребреник, которым пользуются все, кому не лень. У Речкина было оторвано пол-уха, и некоторые утверждали, что столь серьёзное ранение нанесла ему стая голодных бездомных собак, повалила полупьяного на землю, а одна из них вырвала ему полуха. Сам же Речкин утверждал, что ранение он получил в тайге во время схватки с матёрым медведем, а историю с собаками придумали те, кто когда-то раскулачивал его деда Спиридона.

Шугаев быстро нашёл с ним общий язык и частенько ходил с ним в тайгу, предполагая сделать Колю основным героем своих будущих охотничьих рассказов.

— Трубы горят, может, у тебя чё-нить найдётся? — вновь подал голос поздний гость. — Может, лосьон иль одеколон. Одеколон — это вещь!

— Решил побриться, — пошутил я. — Найдётся! Есть “Архи”. Монгольская.

— А мне всё одно, — слабо махнул ладонью Речкин.

Я достал из портфеля приготовленную для лесничего бутылку водки, отвинтил металлический колпачок и разлил в пиалы.

Коля сглотнул слюну, приставил топор к порогу, снял с головы кепку и присел на стоявший у дверей табурет.

— А чё, стаканов у тебя нет? — кивнув на пиалы, уже хозяйским, повеселевшим голосом спросил он.

— Её, Коля, монголы подают в пиалах. Она сделана из молока. Хитрая водка. Голова трезвая, соображает, а ноги не идут. Да ты подвигайся поближе.

— Да у меня руки длинные, — повеселел Речкин. — Надо, достану везде.

Не поднимая зада, он всё же придвинул табуретку к столу. Выпили за знакомство. Коля вытер рукавом губы.

— Ты закуси, — предложил я и подвинул поближе тарелку с хлебом и огурцами.

— После первой не закусываю, — признался Коля.

— Понял.

— А я учился здесь, в этой школе, — оглядев полутёмную комнату, доложил гость. — А в седьмом классе здесь у меня любовь была, Веркой звали. Я её за косы дёргал, а меня за это в угол, вон за ту печь, ставили. А потом меня Кира Владимировна, училка наша, просила принести дров, что-то похолодало. Я бегом во двор, это всё равно лучше, чем столбом стоять. А на стене висела карта Советского Союза. Я бросаю в топку поленья и думаю, вот бы сейчас поехать на Чёрно море. Там, говорят, круглый год тепло и не

надо печь топить. И взять с собой Верку. А обратно через Москву. Сходить в зоопарк и посмотреть, как живут за забором изюбри и медведи. А ещё хотелось съездить в Грецию, глянуть местечко — Марафон называется. Может, слышал? Где греки с персами бились. Потом грек бежал, чтобы сообщить, что они победили. — Коля пожевал губами с какой-то непонятной для меня тоской, оглядел стены. — Отсюда, от нас, до города сорок вёрст. Мамке моей здесь плохо стало, помирать начала. Я в город побежал, чтобы врача вызвать. Бежал всю ночь, слёзы размазывал. Даже коня в деревне не нашлось. И телефона в конторе не было. К утру прибёг в Пивовариху, там больница. После обеда прислали врача, но было уже поздно. Помёрла мамка. Сколько раз я эти сорок вёрст на своих двоих... Эх, жизнь!.. Я ей, когда вырос, памятник поставил. Если хочешь — покажу. — Коля втянул в себя воздух. — Надо бы на ночь протопить. Сыро здесь, давно не топлено.

— Я хотел, но не успел.

— Так давай, я щас дров принесу! — и выскочил во двор.

Я открыл печную дверцу, сунул под заготовленные лучины смятую газету и чиркнул спичкой. Дымя, газета прогорела, но приготовленные для растопки дрова не торопились разгораться, из всех щелей на плите повалил сильный дым. Я схватил обрезок оргалита и, открыв дверцу, начал нагонять в печь воздух. Дым в комнату повалил ещё сильнее. Вошёл Коля, вывалил на металлический лист перед топкой охапку наколотых дров.

— Ты забыл открыть заслонку, дымоход отсырел, задохся, тяги нет, — объяснил он и, отодвинув меня в сторонку, выдвинул заслонку и приоткрыл поддувало. Огонёк повеселел, потрескивающие язычки потянулись куда-то в тёмную глубину печи.

— Теперь дело пойдёт, — спокойным голосом заверил Речкин. — Эта печь, она меня вспомнила и послушалась. Ей лет шестьдесят будет, а гляди, держится! Я Шугаеву говорил, давай подгоню “Челюсник”, раскатаю барак по брёвнышку, перепилю, что не сгнило. Что у нас в тайге — лесу мало! Если ты решишь строиться, то привезу, сколько надо. Соберёшь новый дом, чтоб всё чин по чину. Чтоб свежестью пахло, деревом и теплом. А так гнильём да мочой всё провоняло. Кто посчитает, сколько людей через школу прошло! Ты это кресло не выбрасывай! — кивнул на деревянное, похожее на трон кресло. — Я его Славке сюда притащил. Оно от моего деда осталось.

Глянув на кресло, я вспомнил, как любил Шугаев, развалившись на этом троне, рассуждать о всемирной отзывчивости русского человека и давать свои оценки известным писателям.

— Ну что? Печь затоплена, надо бы это дело обмыть! — уже ровным повеселевшим голосом предложил Речкин.

— Ходил к лесничему, — разливая в пиалы водку, поделился я. — Просил подключить свет. И брёвна под венец попросил.

— И что?

— Мне показалось, они мне не рады.

— Так они всем, даже себе не рады. Им всё мало! — хмыкнул Коля. — Я ещё от деда слышал, что на месте школы когда-то хотели построить церковь. Даже брёвна заготовили. А потом из этих брёвен школу собрали. Так она с тех пор и стоит. А эти хотели здесь построить охотничий дом, баню, что-то ещё. Но не срослось, а тут ты появился. Вот они и злобятся. Я слышал, Россомаха здесь клейстер решила развести. По оказанию услуг.

— Скорее всего, кластер, — подумав немного сказал я.

— Во, во, его! Понатаскали разных слов, чёрт ногу сломит, — засмеялся Коля. — Раньше — барыга, теперь бизнесмен, моего деда-мельника кулаком обозвали, а ныне, возможно, стал бы почётным гражданином Добролёта. К нам ныне любители поохотиться приезжают, даже из-за границы. Хорошие деньги плотют, долларами. Для этого и лошадей здесь развели. Часто меня снаряжают: Коля, съезди, покажи тайгу, солонцы. Ублажи гостей. Иностранцы мясо не берут. Им рога подавай. Ну, медвежью шкуру иногда просят выделать. Но обязательно с распятой пастью. Наши медвежье сало берут, желчь. — Речкин оглядел комнату. — Место здесь хорошее.

— Выходит, я кому-то помешал?

— Помешал, да ещё как! Лесничий, Фомич, приехал сюда по весне. Прежнего, татарина, сожрали. Он дом здесь отгрохал, родню начал сюда перетаскивать. Кому-то это шибко не понравилось, что лес в Китай мимо их рук потёк. Приехали братки, скрутили лесничего и в подвал. Миллионы с него начали выбивать. Ещё хорошо, что не убили. Он струхнул, заявлять куда надо не стал. Отдал дом и переехал поближе к городу. Сюда Фомича прислали, а он привёз с собой Лёху-полицая. Не пойму, в каком его курятнике высидели? Ему бы белую повязку на рукав. А его — егерем! Чё ещё скажу. Говорят, надо выбирать не место, где ты собираешься жить, а соседей. Так вот, Лёха — твой сосед. Через стенку. Поди, сидит и слушает, о чём мы здесь гутарим. Когда-то к школе была построена амбулатория, там фельдшерский пункт был. Но в последние годы на ней замок висел. Лёха договорился с директором леспромхоза, мол, мне где-то жить надо. Ему ключ от фельдшерского пункта — живи! Он отгородил участок забором, даже залез на твою территорию. Так что не удивляйся, у тебя ещё будут с ним проблемы. Здесь у нас всегда было тихо и спокойно. Но в последние годы... — Коля махнул рукой. —словно с цепи сорвались! Славка Шугаев однажды пожаловался. Говорит, приехал поработать, зашёл в дом, а там всё разбросано! Проверил, спёрли “болгарку”, электродрель, наждак, резиновые сапоги с удлинённым голенищем, он в них на рыбалку ходил. А ещё вынесли комплект белья и стиральную машину. А вот книги и журналы, которые хранились ещё со времён школы, не тронули. Да и кому они нынче нужны! Разве что печку топить. Ключи от дома были только у меня да у Веры Егоровны, которая ему печи протапливала. Я провёл своё расследование и нашёл. Лазал бич с Горячих Ключей. На кухне выставил стекло, вынул раму и залез. Я припёр его к стенке. Тот, зная меня, струхнул и что не успел пропить — вернул.

После его слов у меня заныло под ложечкой. Я представил, что в один прекрасный момент, когда я отлучусь в город, могут выставить окно. Начнут шарить и найдут ружьё. Это же уголовная статья. Доказывай потом, что ты не успел его зарегистрировать.

Речкин вновь пригубил из пиалы и продолжил:

— Лёха здесь первый браконьер, а если глянуть, то, по своей сути, легальный бандит. У него же башка отбита. Я афганскую захватил перед самым выходом, потом в первой чеченской поучаствовал. А он, говорит, тоже воевал. Белый дом в Москве брал. Убивать научили, а вот работать... Чуть что, пальцы веером. Ему только скажи: “Фас!” Ягоды отобрать, ёлки у городских, за которыми сюда перед Новым годом приезжают... Ну, и лес, конечно. Попробуй, вывези, если кому надо не заплатил. Может, прививку им сделать? От жадности! Я тоже не святой. Поколесил по белу свету. Всё было: и девок портили, и они мне жизнь портили. Честно сказать, одни лошади меня понимают. Как-то сюда приехал министр лесного хозяйства. Я ему сказал, что при таком отношении, когда лес жгут, рубят, скоро здесь пустыня будет. Думаешь, что-то изменилось? Только врагов нажил. Рвут, тащат, пилят, тырят! Раньше такого не было. Власть была, а в лесу порядок...

— Коля, а чьи дома справа при въезде стоят? Крепкие, хорошие дома.

— Там татары живут. А в большом, за бревенчатым забором, — Росомаха. У неё наше кулачье вот где! — Коля сжал кулак. — Поют ей, как в церковном хоре. Жаль только, церкви здесь нет. И татары ей за километр кланяются.

Кто такая Росомаха, я выяснять не стал, но, судя по его голосу, понял, что в деревне важная и влиятельная фигура. Честно говоря, я не ожидал, что здесь, в маленьком заброшенном кордоне, говорят о тех проблемах, о которых даже в Москве предпочитают помалкивать, считая, что лесу у нас много, на всех хватит. Особенно меня позабавило, что в крохотном Добролёте есть двое бывших спецназовца, готовых в любое время применить свои навыки.

— Ты к ним больше не ходи, — сказал Коля. — Брёвна я тебе привезу, если хочешь — брус, доску-пятёрку, тебе здесь пол на кухне менять надо.

— Может, мужиков нанять?

— Ну, если есть деньги. Здесь делов у тебя — мама родная! Всё сгнило, как бы не завалилось. Мой тебе совет: начнёшь венцы менять, чтоб они не гнили, надо доски и брёвна паяльной лампой обжечь. А потом масла хорошо бы льняного бутылку привезти, нагреть его до кипятка и промазать. Тогда на твой век хватит, ещё и детям останется.

— Коля, а как здесь с крысами?

— Крысы? Да они ныне везде, по всей Раскулачихе. Ты нарви польнь и распахай по углам. Если есть цветы, бархатцы, муравьи сразу уйдут. Под полом надо рассыпать печную золу. Прямо из подувала. Крысы и мыши не любят запаха пожарниц.

## ГЛАША

Вновь скрипнула дверь, на пороге в дверном проёме возникла молоденькая девчушка. В руках у неё была банка с молоком. Мне показалось, что на вид ей лет пятнадцать, не более. Я тут же обратил внимание, что на ногах у неё были резиновые калоши — та обувь, в которой выходили во двор в деревнях и на дачах по своим хозяйским делам женщины; как они говорили, это лучшая обутка при вечерней росе. Одея она была просто, в свободные тонкие трикотажные шаровары, поверх которых до колен серые шерстяные гамашы, на плечах синяя хлопчатобумажная курточка, волосы густые и расчёпанные.

— Ой, простите! — с извиняющей улыбкой, сверкнув тёмными глазами, сказала она. — И вы, Николай Петрович, здесь! Вот не ожидала. — Она снова перевела взгляд на меня. — Вера Егоровна ждала, ждала, а вы не идёте. А мне всё одно по пути.

Её огромные и слегка настороженные глаза смотрели с любопытством, должно быть, она не ожидала увидеть при тусклом свете керосиновой лампы двух взрослых мужчин, которые вместо молока пьют водку. А на стене — тени, тихие и оттого, наверное, для девочки страшные.

— Кого вижу! Глашка! — воскликнул Коля. — Ты чего по ночам шасташь? Тебе спать пора.

— Николай Петрович! — нарочито строгим голосом прервала его Глаша. — Я ж русским языком говорила, я не Глаша, я — Аглая! Глаша в переводе с греческого значит гладкая, а я — блестящая.

— А по мне всё одно, Глашка, Глаша, девочка наша, — засмеялся Коля.

— Да хоть горшком назовите, только в печку не ставьте, — засмеялась Глаша. Смех у неё был чистым и лёгким, совсем как у ребёнка. Услышать его здесь, среди сваленных у порога узлов, коробок с инструментами, выдавших виды табуреток и доживающей свой век широкой клубной лавки и разговоров о деревенских нравах и непростых соседях было неожиданно, мне даже показалось, что наконец-то дали свет, которого так недоставало в этом старом бараче.

— Это ваше молоко, — сообщила она, — Вера Егоровна попросила занести. Ей надо ещё других коров подоить. А у вас здесь почему-то дымом пахнет.

— Да мы здесь с печкой разбирались. Застоялась. Но сейчас ничего, тянет.

Я забрал у Глаши банку, поставил на стол рядом с бутылкой “Архи”, но, посчитав, что такое соседство противоестественно, начал искать, куда бы спрятать водку. Глаша рассмеялась, она всё поняла. Про себя я успел отметить: всё, что положено иметь девушке в её возрасте, было при ней. Когда я глядел на её ладную, прибранную фигурку, мне почудилось, что в этой, ещё не ставшей моей избе всё стало на своё место, и даже отсутствие света было как бы на руку. Тихо, потрескивают дрова в печи, а за моей спиной в окна смотрела тёмная тишина и вечернее спокойствие, такое не встретишь в городе, где в любой квартире светло, как в операционной. “Что ж, сегодня для меня кто-то устроил день открытых дверей, — подумал я, и тут же,

усмехнувшись задал себе вопрос: — А вот если были ли бы у меня ворота и глухой высокий забор, то сидел бы один и таращился на свою тень?”

— А мы здесь тоже молочком балуемся, — сообщил Коля, кивнув на бутылку. — “Арха” называется, не слыхала?

— “Архи”, — поправил я.

— Из Монголии. Хочешь попробовать? — предложил Коля. — Вкусная!

— Детей приучать нельзя! — забеспокоился я.

— Тем более спаивать, — засмеялась Глаша.

Она быстрым глазом окинула комнату, выгнутый пол, тенёта на стенах, разводя на потолке (крытая драньём крыша школы давно сгнила и пропускала воду), и неожиданно её взгляд остановился на стоящем ящичке этюдника, на котором стояла начатая картина.

— Ой, можно посмотреть? — и вновь с детским любопытством глянула на меня.

— Смотри, но она ещё не закончена.

Оставив у порога резиновые калоши, она, неслышно ступая шерстяными носками, подбежала к этюднику, присела и начала рассматривать картину. Я глянул на стоящий на полу возле стены белый холст, на нём отпечаталась тень Глашиной головы (точно весь свет керосиновой лампы был направлен в одно место) с графически чётким профилем, которым можно любоваться и наслаждаться, как чем-то совершенным, сотворённым природой художественным мазком. Я чуть было не крикнул, чтоб она замерла и осталась в этом положении подольше, а я бы схватил уголёк и сделал набросок.

— Красиво! Вы художник?

Я хотел возразить, что вообще-то не художник, просто любитель, но чтоб не разочаровывать её и себя, промолчал. Глаша вздохнула и, вновь быстро глянув на меня снизу своими чудными глазами, спросила:

— У вас странный мазок. Вы какие кисти используете?

— Разные. Здесь, например, я начал писать не кистью, а мастихином. В каждом деле есть свои тонкости.

— Расскажите, пожалуйста, мне интересно, — попросила Глаша.

— Вначале грунтую холст, затем на палитру выдавливаю краски. В растворитель для мягкости добавляю олифу. Если пишу акриловыми красками, то ставлю воду.

— А мне нравится Клод Моне, — сообщила Глаша. — И ещё Эдгар Дега, его “Абсент”.

О-о-о! Для меня её слова прозвучали неожиданно. Только что перед глазами был топор с расхлябанным топорщиком, керосиновая лампа, банка парного молока и вдруг, на тебе, на десерт Клод Моне и Дега. Конечно, назвав картину “Абсент”, Глаша намекнула на стоящую на столе бутылку “Архи”.

— А ну присядь, — попросил я.

Достав чистый лист ватмана, я усадил Глашу на табурет, пододвинул к себе этюдник и угольком начал набрасывать её портрет.

— Ой, мне надо идти, меня ждут, — не особо настаивая, сообщила она.

— Я сейчас быстро набросаю. Только ты не вертись и не торопись!

Намечая абрис, и чтоб она не заскучала, я начал расспрашивать свою неожиданную гостью:

— Так чем ты здесь в деревне занимаешься?

— Ухаживаю за лошадьми.

— Ну, а вообще? В городе, например. Ведь ты там живёшь?

— В городе? — Глаша на секунду задумалась. — Аделина Рафкатовна послала мои документы в Айову. Это в Америке. Буду финансистом.

— Вот как! Тебе нравится?

— Не, но она настояла.

— А чего здесь? Все летом куда-то едут. На море, в другие страны.

— Вот я и приехала. Сюда! Я люблю лошадей. Они умнее и добрее людей. В прошлом году мы ездили в Таиланд. Скукота, вода, как тёплый чай, и жара. А здесь воздух — хоть с чаем пей.

Я даже вздрогнул при упоминании воздуха, который можно пить с чаем. Продолжая наносить штрихи угольком, я решил блеснуть своими познаниями в рисовании и заодно рассказать, чем я намерен здесь заниматься.

— В живописи есть немало картин со сценами... — тут я слегка замялся, мне не хотелось, чтобы мои слова прозвучали осуждающе, — пьянства. Сцены с подвыпившими людьми писал Рубенс, Ян Стен “Гуляки”. Да и наши, тот же Маковский “Тихонько от жены”. Примеров можно привести множество. Но мне больше нравится пейзаж.

— А это у вас что, патефон? — неожиданно спросила она.

— Патефон, он работает. Хочешь послушать?

— Меня ждуг. Можно, я посмотрю?

— Что, патефон?

— Нет, ваш рисунок.

— Да я только сделал набросок.

— Ну, немножечко!

— Давай договоримся, ты ещё ко мне придёшь.

— Хорошо! — и не ожидая моего разрешения, тенью скользнула ко мне за спину.

— Похожа! И как вам это удаётся? Больше ничего не делайте, а то зарисуете! Я здесь такая решительная.

— И красивая, — добавил Коля, рассматривая рисунок. — Так ты сама сказала, Аглая решительная и красивая.

— Блестящая, — поправила Глаша. — А вы лошадей можете нарисовать?

— Честно говоря, не пробовал, — сознался я. — Но хорошо знаю тех, кто умел это делать.

— А мне нравятся картины Алексея Зверева, — сообщила Глаша. — Он тоже рисует лошадей. Вы приходите на конюшню. У нас там Баян, Умка, Жизель, Уголёк. Красивые, с ума сойти можно!

— Хорошо, приду, — пообещал я.

— А вы ездить верхом умеете?

— Когда-то давно приходилось.

— Если забыли, я вас научу, — Глаша располагаяще улыбнулась.

— Мне бы со своими делами управиться.

— Управитесь, Николай Петрович поможет. Правда?

— “Архи” потребуется немало, — засмеялся Коля. — Конечно, подмогнём!

Глаша обула калоши и, скосив глаза на мольберт, попросила:

— Можно, я возьму Аделине Рафкатовне показать?

— Да он ещё не закончен, но, если очень хочется, бери.

Взяв рисунок, Глаша свернула его в рулончик и, должно быть от удовольствия, причмокнула губами и так же быстро, как и пришла, исчезла за дверью.

— Хорошая девка, — вздохнул Коля. — Она за лошадьми присматривает. Красивая — сам видел. Другая бы на её месте по столицам, по Америкам бы начала шастать. Смышлёная, языки знает. На такую парни, как мухи на мёд. Истоптали бы, изгадили, таких сейчас немало. Этот полицейский здесь к ней приставать начал. Я ему: тронешь — пристрелю. — Речкин глухо откашлялся. — Чё-то мы с тобой заговорились, а “Арха” может обидеться, — Колина рука уже по-хозяйски потянулась к бутылке. — Ты знаешь, она меня в прошлом году спасла. — Коля вновь замолчал.

— Кто, бутылка спасла? — поинтересовался я.

— Бутылка меня на тот свет чуть не отправила. Век бы её не видал, но отказать ей не могу. А дело было так. Глашка с Бадана меня еле живого привезла. Мы туда немца возили. На солонцы. Я разговаривал с ним по-немецки: хальт, шнель, Ганс или, когда в скрадке сидели, камрад, сиди тихо! Если он что не понимал, Глаша ему по-англицки переводила. Получалось неплохо. — Коля почесал затылок и нахмурился, тем самым как бы давая понять, что готов в своих воспоминаниях перейти к главному: — Вечером, вот так как с тобой, в баньке сидим, шнапс пьём. Я её натопил, попарил немца.

По-нашему, по-сибирски, по-деревенски. Он закутался в полотенце и, вытянув шею, заворковал, как гусь: “Гут, гут!” И ушёл в зимовьё. Я поддал пару — и тут... — Коля ненадолго замолчал, глянул вниз на свою табуретку, поёрзал по ней задом. — Ну, в общем, сплоховал. Света нет. Ну, маненько выпимши. Поддал жару, похлестал себя веничком, обессилев, спустился с полога и решил присесть. И со всего маху вместо лавки сел голой задницей на раскалённую печь, перепутал её с лавкой. Заорал. Вот тебе и гут! Выскочил наружу и вокруг бани козлом запрыгал. Они тоже выбежали, уж не медведь ли на меня напал? Я попросил Глашу побыстрее натереть сырую картошку, намазал ею обожжённое место. Она меня повернула в простынь, запрягла лошадей, я кое-как забрался и лёг животом поперёк седла. И в ночь через всю тайгу тронулись мы в Горячий Ключ. А это почти сорок километров. Кой-где мне приходилось идти пёхом. Немец шёл и причитал: “О-о-о! Майн гот! Майн гот!” В больнице мне обрезали волдыри, намазали облепиховым маслом — затянулось, как на собаке. — Коля вновь отхлебнул из пилалы и добавил: — Вот бы глянуть марафоновскую дистанцию. И включить её в пробег с обожжённым задом. — Засмеявшись, Коля поднял пилалу. — Что, командир, будем здоровы!

— Ну, а как немец? Была претензия?

— Я ему шкуру отдал.

— Свою?

— Не, медвежью. И рога изюбря. Меня, конечно, ругали, особенно Аделина Рафкатовна.

“А может, и мне заказать медвежью шкуру, — мелькнуло у меня в голове. — И пройтись в ней, как когда-то бродил Шугаев по Иркутску”.

— Когда пойдёшь на Ушаковку, справа — высокий забор, а за ним большой дом, — продолжил Коля. — На берегу конюшня. Там у меня закуток. Если чё надо — заходи. Аделина Рафкатовна, ну, та самая Росомаха, частенько из города наезжает. Глаша ей племянницей приходится. Хорошая женщина, ничего не скажу, настоящая барыня. Они меня к себе на работу взяли. Лесничий Фомич без Рафкатовны — ноль без палочки. Как она скажет, так оно и будет. Голова у неё варит, это факт.

— Охота не женское дело. Как же Аглаю отпускают?

— Она с нами заместо переводчицы ездила. Ну, и приготовить, сварить, накрыть на стол.

— А какие у вас лошади?

— Разные. Есть пара орловских рысаков. Ещё карачаевские. Орловские, да и карачаевские, умные, покладистые, могут принимать решение самостоятельно. Однажды на охоте я заплутал. Ночь, темно, кругом снег, я не знаю, куда ехать и где наш табор. И тогда я доверился Баяну. И он, представь себе, сам без моей помощи привёз меня к балагану. Бывает, едешь по лесу и можешь сам себя загнать меж стволов. Чтоб выбраться, пятишься назад. А когда доверишь лошади, она сама определит, где можно пройти и не задеть наездника. Зимой бросишь овса, она все зернышки подберёт, а вот овсюг весь останется на снегу. Попробуй сам отсей, очень надо постараться. А у них на языке точно пришито сито. Карачаевские на копытах имеют крепкий кожаный рог и не нуждаются в ковке. Они хорошо выбивают копытами траву из-под снега. А вот ахалтекинская — лошадь особого склада. Она для одного хозяина. У неё ноги сухие, стройные. За такую дают хорошую иномарку. Но своенравная. На неё чужому лучше не садиться — сбросит. Посмотришь со стороны — не бежит, а плывёт. Есть полукровки, а есть чистопородные. В имени лошади первая заглавная буква от отца, последняя — от матери. Некоторых называют по масти. Теперь я здесь в деревне железных коней пасу и настоящих. Глашка меня поругивает, что я рюмку-другую пропускаю. Говорит, что лошади не любят это дело, — Коля щёлкнул себя по кадыку и вновь плеснул себе в пилалу монгольской водки. — У них машинка есть, стиральная. Глашка иной раз кричит: “Коль, сыми свою одежду, постираю!”

Я глянул на Колину замасленную спецовку, на заношенную тонкую, почти истлевшую майку, которая вытянулась от времени и едва прикрывала

грудь, и тут меня точно кто-то подтолкнул. Я вспомнил, что в узлах, которые привёз в Добролёт, была собрана старая одежда. Как и все горожане, которые освобождаются от ненужных вещей, отвозя их на дачу, по принципу — авось пригодится, поскольку выбросить жалко, а носить поношенные не хочется, то же самое сделала и моя жена. Я развязал узел, достал поношенные, но вполне пригодные синие лётные ползунки с ватиновым подкладом, с белыми широкими резиновыми ляжками, с вырезом почти у самой шеи, с металлической молнией на животе и с объёмистыми карманами выше колен, которые закрывались двумя кнопками, и такую же лётную куртку с молниями и коричневым меховым воротом.

— Это тебе, — предложил я Коле. — Когда будет холодно, пригодится. Знаю, зимой в тракторе, как и в самолёте, задница к сиденью прилипает.

Коля, вытаращив глаза от такого непривычного к себе внимания, тут же сбросил с себя замасленную одежонку и влез в ползунки.

— Ты гляди, как раз по мне! — удивился он. — Буду теперь в Добролёте первым лётчиком. Нет, нет, вторым после тебя, — тут же поправился он.

Я уже знал, что дающий получает не меньшую, а, может быть, даже большую радость от своего поступка. Я улыбнулся и вышел в сени, отыскал в мешке с привезённой обувью поношенные унты и, вернувшись в комнату, протянул их Коле.

— Для полного комплекта.

— А у тебя-то, блин, хоть осталось?

— Да осталось, осталось. Нам её как спецодежду выдают.

Коля натянул унты, подошёл к тёмному окну и, как перед зеркалом, начал ловить своё отражение.

— Завтра вся деревня обзавидуется, — продолжая разглядывать свои обновки, радовался Речкин.

— Послушай, а у тебя фонарик найдётся? — неожиданно спросил он. — А то я сейчас сбегаю, принесу.

— Что, лампы мало? Зачем тебе?

— У меня мысль появилась. Жить тебе в потёмках негоже. Мы сейчас свет добудем. Есть верхонки?

— Ты чего? — недоумённо протянул я. — Ощепков сказал, надо вызвать монтера, электрика. И заплатить долги за свет.

— Сначала пусть он мне заплатит! Пойдём, ты мне подмоги, посвети.

Оказалось, что провода были не обрезаны, а отсоединены, и концы замотаны изолентой. Коля приставил лестницу, посветил фонариком.

— Есть пассатижи и отвёртка? — спросил он.

Я сбежал в дом и принёс короб с инструментами.

Коля вновь залез и, пошаманив немного, протянул мне пассатижи.

— А ну проверь! — командовал “электромонтер”.

Я зашёл в дом, щёлкнул выключателем — и в глаза ударил ослепительный свет. На мгновение я прикрыл глаза и с облегчением подумал: вот она, минута радости, Речкин приобщил меня к благам цивилизации!

Перед уходом он осмотрел пол, заглянул в подполье.

— Коля, я сегодня там обнаружил ружьё, — признался я. — Как оно там оказалось, не пойму. Да вон оно, в мешковине, давай посмотрим. Я у Славы все ружья знал. Он мне показывал, хвастался.

Коля спустился в подполье, развернул мешковину, осмотрел ружьё:

— Бескурковка, двенадцатый калибр. — Он заглянул в ствол. — Такого ружья я у Шугаева не помню. Ствол в хорошем состоянии. Такое тыщ тридцать стоит.

— Вот что, Коля, мне оно ни к чему. Возьми! Тебе сгодится. А мне от греха подальше. А Шугаеву скажу, тебе отдал.

— Ну, если ты так решил... — протянул Коля, с некоторым любопытством глянув в мою сторону. — У меня старенькая берданка, её ещё “фроловкой” называли. По нынешним временам музейная редкость, она мне ещё от деда Спиридона досталась. Калибр шестнадцатый, к ней патронов ныне не достать. Так и быть, возьму!



Перед тем как уйти, Речкин показал глазами на патефон:

— Не знаешь, у тебя пластинка Владимира Трошина есть?

— Есть. Что, хочешь послушать?

— Да нет. Поздно уже. Как-нибудь зайду, послушаю. Раньше его часто передавали. Может, помнишь, “Тишина” называлась? Сейчас другие песни, про юбочку из плюша.

Даже не переодевшись, Коля собрал свою замасленную спецовку в узёлок и, допив водку, так и ушёл в лёгкой одежде.

Где только не приходилось мне спать и ночевать! На сеновалах, в палатках, у костра, на голом полу аэровокзала, в кресле самолёта, однажды даже пришлось коротать ночь на столе в сельской конторе, куда прилетели для выполнения сельхозработ. Я вспомнил, что, когда я приехал в гости к Шугаеву, после разговоров о всемирной отзывчивости русского человека, за неимением свободной кровати он меня уложил на широкой деревенской лавке. Ничего, переспал...

Я разобрал раскладушку, бросил на неё матрас, застелил привезённой из города простынёй, разделся, потушил свет и лёг под суконное одеяло. И тут же провалился в тишину и темноту ночи. На кухне, потрескивая, догорали дрова, уже не пахло дымом, пахло теплом и покоем, где-то далеко за стенами школы глухо, как бы по инерции, лаяли собаки, затем, когда глаза привыкли к темноте и проступили окна, над кустами черёмухи я увидел звёзды, их было гораздо больше, чем в ночном городе, чуть пониже, сквозь тёмную листву кустов, осторожно и несмело начали проглядывать холодные глаза восходящей луны. Прислушиваясь к темноте и к себе, я вспоминал свой первый приезд и думал, зачем было Шугаеву уезжать в Москву? Пустоты не бывает, она всё равно чем-то заполняется, но там, среди тысяч лиц, можно было легко и потеряться, и не разглядеть своего лица. А здесь, в деревне, на него смотрели с удивлением и уважением, признавая в нём приехавшего из города барина, который, видимо, от безделья бродит с ружьём по окрестным лесам, а по ночам жжёт керосиновую лампу и марает чернилами бумагу. Своим он здесь так и не стал, да и не очень-то к этому стремился.

Переворачиваясь на другой бок, я посмеялся про себя: получалось, что по наследству Шугаев передал мне не только дачу, но и Колю в придачу.

## ЧЕЛЮСНИК

Проснулся я от шума и грохота и сразу не смог сообразить, где я и что со мной? И почему подо мной трясётся кровать? Выглянув в окно, увидел, что к дому, держа в металлических челюстях брёвна, ползёт огромное чудовище, в котором я не сразу признал трактор. Быстро одевшись, выскочил во двор и, забежав за угол дома, остановился как вкопанный. Мне показалось, ещё немного, и Речкин снесёт школу.

— Командир! Принимай лес! — выглянув из кабины, крикнул Коля. В какой-то миг мне показалось, что он похож на скалившую зубы лохматую обезьяну.

— Ты где взял лес? — хриплым надломанным голосом, стараясь перекричать работающий мотор, заорал я.

Свалив под черёмуху брёвна, Коля выскочил из кабины.

— Это листовница. Её надо пустить под нижний венец. Я щас ещё сделаю пару ходок, — доложил Речкин и, нырнув в кабину, круто, почти на одном месте, развернул трактор. Послышался треск, нижней “челюстью” трактора Коля повалил у соседа забор. На секунду он приглушил мотор, глянул с высоты и, махнув рукой, всё с тем же грохотом пополз к дороге. Минут через пять от Змеиной горки с вязанкой брёвен трактор вновь выполз на дорогу и взял повторный курс к школе. От конторы прибежал лесник и, осмотрев поваленный забор, хотел было поднять его, но поняв тщетность своей попытки, от злости плюнул, сжал кулаки и, набычавшись, стал поджидать трактор. Коля, проезжая мимо, притормозил и глянул на лесника сверху в дверную щель, перекрикивая шум, с некоторым недоумением бросил:

— Чего ты здесь нагородил? Не подъехать, не подойти!  
— Тебе кто позволил?! — Подпрыгивая на одном месте, лесник был готов выскочить из своих форменных штанов.  
— Я, — коротко и спокойно сообщил Коля.  
— Ты кто такой? Ты вошь! Кто тебе разрешил взять лес?  
— Я, — не повышая голоса, ответил Речкин. — Лес мой.  
— Ты что, его растил?  
— Поливал каждый день, — хохотнул Коля. — А вот ты откуда сюда упал?

Оскалившись и потеряв самообладание, лесник подскочил к трактору и кулаком ударил по металлической гусенице. Замах был сильным, но удар так себе, для блезира, чтобы пугнуть.

— А ты лучше головой, — посоветовал Коля.

И тут лесник буквально взвился:

— Ты чего, сволота, здесь творишь?! Я на тебя найду управу!

— Уйди с дороги, молокосос, а то перееду! — пообещал Коля и захлопнул дверку. Трактор, развернувшись, двинулся на лесника. Тот взвизгнул, перепрыгнул через поваленный забор и скрылся за углом школы. Через несколько секунд он выскочил с ружьём.

— Ещё шаг — и я стреляю! — последовало предупреждение.

— Ты — меня? Да я тебя раздавлю! — высунув из кабины голову, спокойным голосом ответил ветеран чеченской войны.

Чем бы закончилась схватка двух бывших спецназовцев, одному Богу известно, но тут от конторы прибежал Ощепков.

— Алексей, опусти ружьё, — приказал он. — Опусты, я тебе говорю! — И, повернувшись к Речкину, перекрывая шум трактора, крикнул: — Коля! Ты чего своевольничаешь? Где взял лес?

— Лес мой, я его привёз ещё несколько лет назад. Хотел мельницу построить.

— Что, и трактор твой?

— И трактор. Я его из хламья собрал.

— Но трактор числится в лесничестве.

— Может, и числится. И я, блин, числюсь. Но деньги мне не плотют. И нечего здесь пальцы загигать. Уйди с дороги!

Краем глаза я заметил, что к школе бегут люди. Дело принимало дурной оборот. Ещё не хватало стрельбы.

Ощепков заметив бегущих людей, махнул леснику рукой, показывая, чтобы он скрылся с глаз, и подошёл ко мне.

— Ну, зачем же так! Можно договориться по-хорошему, — хмуро глядя куда-то мимо меня, буркнул лесничий. — Зайдите ко мне в контору, поговорим.

Мне не хотелось начинать новую жизнь в Добролёте с нешуточного конфликта, и я, прихватив “Архи”, пошёл в контору мириться со здешней властью. Всё ещё сомневаясь в правильности своих действий, прямо от порога достал из портфеля бутылку и поставил на стол.

— А это ещё что? — строгим голосом спросил лесничий. — Взятка? Я взятки не беру!

— Ну, это вроде вступительного взноса.

— С носа? — Ощепков вяло рассмеялся.

— Можно ещё и борзыми щенками.

— Какими щенками? — лесничий уставился на меня понимающим взглядом.

— Например, щенками северной лайки.

Лесничий ещё раз глянул на бутылку с незнакомой этикеткой, пытаясь разглядеть, что за продукт я выставил на стол.

— Хорошего щенка северной лайки я бы взял, — подумав немного, сказал Ощепков.

И до меня вдруг дошло, что мой давний подарок Шугаеву стал известен не только директору леспромхоза.

— Хорошо, я постараюсь, — пообещал я. — Только вы поговорите с моим соседом, как его там по батюшке?

— С Лёхой, что ли? Хорошо, я с ним поговорю. Его в Чечне контузило. Ну, иногда срывается. Я и сам не знаю, чего от него можно ждать...

В тот же день Коля сделал ещё несколько ходок и привёз к школе целый штабель брёвен. Можно было подумать, что я решил построить новый дом.

— Зачем мне столько? — спросил я Речкина.

— Это бревна из осины. Баню построишь, — широкая улыбка играла на его тёмном цыганском лице. — Я договорился здесь с ребятами, если немного заплатишь, мы тебе поднимем дом. Всё будет по уму, командир!

Ещё Коля принёс мощный тракторный домкрат, бензошилу, лом и кувалду и насадил новое топорщице. Вскоре подошли двое парней, обмерили дом рулеткой, сделали зарубки на брёвнах — и пошла работа. Когда брёвна были ошкурены и обработаны кипячёным маслом, Коля подогнал к дому трактор и, засунув под стену клыки, начал потихоньку поднимать её вверх. Устало, как суставы у старика, захрустели, затрещали брёвна, и тут же, стрельнув, треснули и полетели на землю осколки оконных стёкол.

— Ничего, мы вставим новые, — успокоил меня Коля.

Выскочив из кабины, он зашёл в дом и посмотрел на кирпичные печные трубы. За долгие годы, забыв своё изначальное место, они, подлаживаясь под осевшую стену, дали крен и сейчас, упершись в поднимающийся потолок, пошли трещинами. Коля топором выбил закрывающие щели коротенькие доски и продолжил подъём стены. Когда между сгнившими брёвнами фундамента и стеной образовалась щель, он выглянул из кабины и командовал:

— Выкатывайте гниль!

Мы тотчас ломами и железными, специально привезёнными Речкиным крюками выкатили сгнившие брёвна и подставили по углам заготовленные на такой случай чурки. А после закатили и начали собирать новый оклад.

Часа через два дом стоял на свежесрубленном и заранее обработанном маслом окладе. Я отошёл немного в сторону и взглянул на окна: приподняв брови, но лишившись некоторых стёкол, они смотрели изумлённо, но бодро. Заглянув в дом, я повеселел ещё больше — горбатый пол выпрямился, спрятал свой пузатый живот и стал ровным, и про него можно было сказать: хоть сейчас пляши! Тут бы сгодился не только патефон, но и гармошка.

— Ну вот, а ты переживал, — точно подслушав мои мысли, рассмеялся Коля. — Я к тебе на новоселье принесу гармошку, и мы на всю деревню вдарим:

— Броня крепка, и танки наши быстры...

И потекли, полетели дачные денёчки! Вернувшись из рейса, я сел в машину и мчался с очередными покупками в Добролёт. Во время очередного приезда привёз щенка северной лаечки. Её мне подарил знакомый охотник в Ербогачёне, я хотел отдать её Ощепкову. Щенка увидел Речкин, и по его загоревшимся глазам я понял: лаечка ему понравилась. Он взял её к себе на руки, раскрыл щенку рот, глянул нёбо, помял бока, заглянул в уши, оцупал ноги и опустил на землю. Когда она отбежала в сторону, щёлкнул пальцами. Лаечка мгновенно остановилась и посмотрела на Речкина.

— Слух хороший и реакция, что надо. Не труслива. Где взял? — спросил он.

— На Севере, в Катанге, у знакомого охотника.

— То, что надо! Я породу по голове вижу. Нюх хороший, будет ходить за соболем. И глазки у неё умные. А мои собаки постарели. Лентяя. А у этой есть родословная?

— Только на словах. Но хозяин — один из лучших охотников в Катанге.

— Такой породы здесь уже днём с огнём не найдёшь. Все порченые, полукровки.

Мысли мои пошли зигзагом, ещё не до конца решив, как же мне поступать дальше, я, кивнув в сторону лаечки, сказал:

— Если понравилась — бери! Мне пообещали ещё одного щенка, — тут же придумал я, чтобы случайно не обидеть Колю.

Видимо, почувствовал в моём голосе некоторую неуверенность, Коля всё же решил проверить, отдаю я лаечку по доброй воле или только после его невысказанной просьбы.

— Сколько?

— Что сколько? — не поняв, переспросил я.

— За неё? — Коля кивнул на лаечку.

— Рупь, — подумав немного, сказал я.

— Чего так дорого? — растопырив глаза, хохотнул Речкин.

— Сколько положено, столько и прошу.

— Ну-у-у, коли так! — протянул он, и по его вспыхнувшим глазам я понял, что своим подарком попал Коле прямо в сердце.

И мы ударили по рукам. Но испытания лаечки не закончились. Вытаскивая из окон потрескавшиеся стёкла, Коля то и дело поглядывал на неё, а когда она задремала, неожиданно топнул рядом ногой. Реакция лаечки была мгновенной: она вскочила на ноги и, оцетинившись, готовая к броску, пригнула к земле голову.

— Тунгусочка, а ну, иди ко мне, — ласковым голосом, точно выпрашивая прощение, попросил он.

Лаечка прислушалась к его голосу, но не пошла, чем вновь обрадовала Речкина.

— К посторонним не идёт. И правильно делает, — похвалил он. — Своего хозяина она должна знать, но я пока что ей не хозяин. Ну, ничего — привыкнет!

Уходя от меня, он взял лаечку на руки и, поглаживая, как маленького, только что родившегося ребёнка, и что-то нащёптывая и чуть ли не целуя, счастливый и довольный, каким мне ещё не приходилось его видеть, унёс её со двора.

Уехав в город, я выпросил у своего начальства отпуск и уже на законных основаниях обосновался в деревне. Перебравшись в Добролёт, приспособившись и привыкая к деревенской жизни, я для себя отметил две вещи, которые могли не только помочь, но и навредить моей жизни на лесном кордоне. Первое: если не просят, то не лезь со своими советами, и второе: без надобности не суй руку в карман, чтобы решить проблему деньгами. Цену им они знали, но не любили, когда это делалось принатурно, а ещё хуже, когда ими тыкали в лицо. Живи своим умом и давай жить другим.

Каждый вечер, когда темнело, я брал трёхлитровую банку и шёл к Хоревым. Спустя пару минут Вера Егоровна выносила наполненную молоком банку и провожала меня до калитки. Там мы останавливались, она начинала рассказывать о своём прошлом житье на Бадан-заводе, потом ругать живущего в городе сына, но делала это без злости, как и любая мать, для которой он хоть и взрослый, но всё равно ребёнок. Слушая её рассказы о житье-бытье на этом лесном кордоне, я ловил себя на том, что, упав сюда с неба, уже и сам помаленьку, потихоньку стараюсь избавиться от того, что считалось нормой в городской жизни, о которой так сложно писал Фёдор Тютчев: “Как сердцу высказать себя? // Другому как понять тебя? // Поймёт ли он, чем ты живёшь? // Мысль изречённая есть ложь”.

Такое событие, как подведение оклада под школу, в которую ходили многие, по меркам деревни, конечно же, нельзя было оставить без внимания. Частенько наведывался сосед Хорев, и, если во дворе не было Речкина, начинал подсказывать, куда и что подсунуть и что нужно убрать или поставить в первую очередь. Под его руководством Витёк разобрал старые сени, бензопилой распилил полусгнившие брёвна на чурки, поколол их и сложил в поленницу.

Пока рабочие остекляли окна, замазывали разведённой глиной трещины и белили печку, я сделал на машине несколько ходок в город, купил шифер на крышу, льняное масло, краску для пола. А ещё привёз из города бабу Клаву с её мужем Витьком, крепеньким, невысокого роста мужиком. Витёк, как и многие, любил вышить, и баба Клава привезла его на свежий воздух для профилактики, помощи мне и для работы, авось на природе он забудет про свои вредные привычки. Бабой Клавой она стала в сорок лет, и гордилась,

что ещё такая молодая, а у неё уже есть внук, который чуть что кричит: “Баба Клава, пошли домой!”

— Что поделаешь, приходится идти, — смеялась она. — Без меня не уснёт.

Приехав в Добролёт, Витёк принялся наводить порядок, собрал старые, оставшиеся от прежних хозяев вещи и стал сжигать их на костре. Всем нашлось дело. Баба Клава, шустрая и расторопная, взяла на себя обязанности повара, растопила одиноко стоящую, заросшую крапивой заржавевшую печь, вскипятила воду, заваривала чай. Мы с Витьком собрали во дворе обеденный стол, он стал помогать бабе Клаве чистить картошку, резать лук и хлеб. Сама же баба Клава, застыв на привычный пост к плите, сварила борщ и принялась жарить на сковородке котлеты из сохатины, которую принёс Коля Речкин.

— Бери, бери, у тебя здесь такая орава! — сказал он, когда я попытался отказаться. — Я вчера стрелил его на солонцах. Тебе я отрубил стегно, а остальное отдал Росомахе. Она уже отвезла в ресторан. Кто же от свежего мяса отказывается. Хорошее ружьё Шугаев оставил. Бьёт кучно, — Коля хищно прищурился: — Ну, и глаз у меня — алмаз! Прицелом точным, могу в упор. Одним патроном я рогача сохатого сниму на спор.

— Да кто бы спорил! — сказал я. — Тебя здесь не только как стрелка знают. Некоторые даже побаиваются.

— Это ты про Хоря? — Коля с усмешкой скосил на меня свои цыгановатые глаза.

— И чего ты с ним не поладил? — спросил я.

— Не надо шастать по чужим капканам, — как о чём-то несущественном, обронил Коля и, не желая продолжать разговор, прошёлся по двору, посмотрел, что сделано, и сказал, что надо поскорее перекрыть шифером крышу.

— Погода балует, но не дай Бог пойдут дожди. Тогда вся работа насмарку, — и глянул на убегающее за тёмный сосновый гребень тайги солнце, затем перевёл глаза на хлопочущую возле печки бабу Клаву и, сглотнув слюну, подытожил: — Ну что ж, солнце скрылось за ели, время спать, а мы не ели. Не пора ли нам пора то, что делали вчера?

— Мужчины, к столу! — подхватывала баба Клава. — А то у меня всё уже перепрело.

Мы все, как по команде, закружили вокруг стола, подбирая себе место, кто уселся на лавку, а кто и на табурет. Коле, как почётному гостю, который показал всем, что трактор в его руках, как щипцы у зубного врача, могут за пару часов поправить здоровье деревенскому дому и вернуть ему бравый вид, вынесли кресло-трон и поставили во главу стола. Речкин, зная, что ко мне приехали родственники и что будет возможность показать товар лицом, пришёл с гармошкой-хромкой, садиться на директорское кресло отказывался, желая быть в “обществе” одним из многих, при этом подчеркнул, что во главе стола должен сидеть хозяин дома. И показав пальцем на меня, уселся на ближайшую табуретку. Подгадав под ужин, пришли Хорев с Верой Егоровной, их начали усаживать, они для приличия начали отказываться, тогда я с одной, а баба Клава с другой стороны усадили соседей за стол, я налил в стаканы водку и сказал, что надо обязательно выпить, чтобы бывшая школа стала ещё много-много лет.

Выпив рюмку—другую, отведав бабин клавин борщ, все начали просить Колю сыграть или спеть что-нибудь для души. Он не стал ломаться и кочевряжиться, взял хромку, посмотрел куда-то в небо, точно оно могло подсказать, с чего начать, и, склонив голову к мехам, хрипловатым голосом запел незнакомую мне песню:

*Всё движется к тёмному устью.  
Когда я очнусь на краю,  
Наверное, с резкою грустью  
Я родину вспомню свою.  
Что вспомню я? Чёрные бани*

*По склонам крутых берегов,  
Как пели обозные сани  
В безмолвии лунных снегов...*

Позже я ещё долго буду вспоминать эти летние деньки артельной работы, которые возвращали меня в детство, когда вот так же, чуть ли не всей улицей, в нашем дворе собирались соседи, помогавшие отцу возводить дом, подкатывали и поднимали брёвна, закрепляли гвоздями стропила, подколачивали изнутри потолок, а мы, тогда ещё совсем маленькие, катались по свежеструганому, пахнущему свежестью и новизной полу, потом усталые и довольные смотрели, как мужики рассаживались во дворе за столом, где уже дымились тарелки и посреди стола поблёскивала четверть со специально заготовленной для такого случая самогонкой. Мы же довольствовались сорванной с грядок морковкой, репой и турнепсом. Мама с соседкой Надей Мутиной подливали мужикам самогон, подавали хлеб, а после, когда все, кто с песнями, а кто и едва волоча ноги, начинали расходиться, прибирали со стола и мыли посуду. Здесь же тыкались и ждали своего часа собаки, поскольку знали: что-то перепадёт и им.

Наступил вечер, тихий, тёплый, деревенский. Напевшись и наигравшись, Коля встал и, откашлявшись, произнёс:

— Всё, шабаш! Мне пора, лошади заждались, — и, склонив свою лохматую голову к хромке, расслабленной походкой покидая двор, громким голосом как бы подвёл итог своей непутёвой жизни:

*Любил я женщин и вино,  
Играл на деньги в домино,  
Был весел, пьян почти всегда...  
Таким запомню навсегда!*

Соскочив со скамейки, Витёк пошёл провожать Колю, и по его нетвёрдому шагу стало ясно: свежий воздух и борщ с водочкой “пошёл” ему на пользу. Размахивая руками и подлаживаясь под Колин шаг, он, приплясывая, пытался подпевать Речкину. Хорев косил глазами вслед, хмурил брови, всем своим видом показывая, мол, чего с них, дураков, возьмёшь?

Вскоре вслед за Речкиным ушла и Вера Егоровна, чтобы подоить пришедших коров. Оставив нам закуску, баба Клава начинала убирать со стола и мыть посуду. Хорев поправлял под собой табурет, начинал откашливаться, красное, как начищенный кирпич, лицо становилось годным для сурьёзного разговора, и мы с ним начинали обсуждать последние мировые новости, от них переходили к новостям городским, а потом, как это и положено, приступали к самым главным — деревенским. Сосед был в курсе всех событий, и у него на всё была своя, как он утверждал, проверенная жизнью, критическая оценка всего происходящего, которую, как я заметил, должно быть, чтобы не нарваться на скандал, при Речкине он не высказывал. По моим наблюдениям, для деревенских бывшая школьная поляна оставалась как бы нейтральной территорией, на которую боевые действия не распространялись.

Свой разговор Фёдорович начинал о видах на лесной урожай. Здесь, как говорил ещё Шугаев, — а его прогнозам можно было доверять больше, чем метеорологам, — чутью и наблюдательности бывшего лесника можно было только позавидовать. Казалось, Хорев помнит всё: тропинки в лесу, лучшие охотничьи и ягодные уголья, где и что нынче уродилось, а в каком месте при цветении ягоду прихватило утренними заморозками. Для большей убедительности сосед поднимал щепку и начинал рисовать, по какой дороге или тропе идти, после какой развилки надо повернуть в ту или иную сторону. В такую минуту мне казалось, что Хорев знает всё, что находится в тайге, за сотни километров от Добролёта.

— Богдан Фёдорович, а сколько километров будет до Чёрной речки? — спрашивал я. — Там, говорят, самые ягодные места.

— Сколько? Да кто её знает! — покачивая ногой и свесив свой крупный горбатый нос, отвечал Хорев. — Намедни приезжал ко мне кум, попросил

туда на черничник сводить. Ну, мы с ним выпили румку, другую и пошли. Идём, идём, он, видимо, притомился и спрашивает: сколько ишо идти? А я откуда знаю? Говорю: расстояние здесь меряли два брата. Верёвкой. Вскоре она порвалась. Старший говорит: давай свяжем, а младший махнул рукой: давай так скажем — кто проверять будет? Набрали мы по три ведра черники и вечером были дома. Вареники с черникой — одно объеденье. И для зрения она полезная. Раньше мы её для аптек заготавливали, сушили и в мешках в город отправляли. Да мало ли чего приходилось нам заготавливать?

Я поглядывал на него и думал: действительно, прав был Шугаев, называя его тургеневским Хорём; в нём природная рассудительность уживалась с осторожностью лесного зверька, с его умением выживать в любых, самых неблагоприятных условиях. Он, как и Речкин, знал многое: как гнать дёготь, приготавливать сироп из берёзового сока, делать из ягод вино, как сложить русскую печь, как переночевать без палатки в тайге. И ещё многое-многое другое. Как и все деревенские, при случае любил прихвастнуть и показать, что городские для него вроде недоношенных детей. За что ни возьмутся, всё, по его мнению, плохо. За примерами далеко ходить не надо. Как-то, по его словам, два дачника-неудачника решили вспахать огород на горке. Взяли лошадь, им запрягли её, приладили плуг. Начали пахать, а плуг по одному и тому же месту ходит. Аж до коренных пород распластали землю. Вся деревня собралась внизу около дороги, смотрят, чем же дело кончится?

— Я поднялся на горку, отрегулировал плуг и вспахал. “Это, — сказал я им, — вам не на машине ездить! Плуг хоть с виду приспособление простое, но требует умелого обращения”.

Хорев говорил, что летом для местных главная забота — это покос. Если не заготовишь сена на зиму, то продавай или режь скотину.

— Это Речкину всё нипочём. Кроме собак, ничего не держит. Живёт от случая к случаю, где густо, а где и пусто. Одной тайгой не проживёшь. Чего с него возьмёшь? Детдомовец, пролетарий!

— Так он тракторист отменный, — пытался возразить я.

— Вот чё я тебе скажу! Горло у него дырявое, — и Хорев обречённо махнул рукой. — И не таких молодых-удальцов румка ломала.

Уже по темноте, подсвечивая себе фонариком, я провожал подвыпившего соседа до его калитки и возвращался к себе домой. Было ещё тепло, движение воздуха останавливалось, и меня со всех сторон обступала вселенская тишина. Но ненадолго. Где-то недалеко, на горе, пробуя голос, обречённо начинала куковать кукушка, и многие, в том числе и я, начинали загадывать, сколько же мы ещё проживём на белом свете? Снизу, от реки, наполнила лёгкая дымка, очищаясь от всех деревенских запахов, воздух свежел, становился лёгким и невесомым, совсем рядом, обсуждая дневные новости, время от времени начинали переговариваться люди, мычать недоеная скотина и глухо, точно для контроля и проверки слуха, перелаивались собаки. Свои года они не считали, доверяя делать это людям.

Перед тем как зайти в дом, я останавливался на крыльце, смотрел на звёздное небо, на крыши домов; мне казалось, что над всем этим таёжным миром раскинулось огромное ромашковое поле, через которое время от времени чертили свои высокие крутые тропинки похжие на светлячки крохотные, блестящие спутники. Я тут же вспоминал: бывало, ночью подлетаешь к городу, и лежащая внизу земля с крохотными огоньками маленьких поселений очень напоминала звёздное небо с его Большой и Малой Медведицами, Козерогом, Стрельцами, Рыбами, Гончими Псами и одним большим и длинным, как жизнь, Млечным путём. Глянув через кабинное стекло вниз, я видел под собой такое же небо, которое отражалось одинокими огоньками посёлков и деревень, и, пытаясь соединить воедино небесное с земным, отыскивал ставшую мне родной Раскулачиху. В той стороне сквозь тьму пробивались всего-то несколько огоньков, которые я знал наперечёт: вон лампочка на столбе у конторы, ещё несколько фонарей вокруг особняка Росомахи, а вокруг всё та же межзвёздная пустота сибирской тайги.

## УМКА

Через несколько дней я неожиданно для себя увидел во дворе Аглаю. Она приехала верхом на лошади, спрыгнула, подошла, даже не подошла, а подбежала ко мне:

— Я ехала мимо и решила проведать. А ещё вареники привезла, — радостно сообщила она, подавая мне завернутую полотенцем кастрюльку. — Они ещё горячие, с черникой. И не вздумайте отказываться. Мы вам от души. А когда от души, не отказываются. Я ещё и Коле прихватила. Давайте отвезём ему, — предложила она, — он сегодня должен вернуться с Бадана.

— Ну, если от души, — улыбнулся я. — У меня тоже есть тебе подарок.

— Не надо, вы уже сделали мне подарок. Я в городе закажу паспарту, повешу с вашей картиной к себе в комнату и перед тем, как ложиться спать, буду вспоминать вас...

Неожиданно я понял, что рад ей, поскольку за делами и заботами та вечерняя встреча ушла куда-то в сторону, но стоило мне увидеть Глашину улыбку, услышать её голос, как я вдруг понял, что ждал этой встречи, и, судя по всему, она тоже не забыла о нашем вечернем разговоре.

От соседки, Веры Егоровны, главного поставщика деревенских новостей, я уже знал, что у Глаши была другая семья и что её несколько лет назад взяла на воспитание Аделина Рафкатовна.

— У Росомахи в городе своё дело, — рассказала Хорева, когда я зашёл к ней за молоком. — Есть свой ресторан. И вообще, она вся из себя деловая, почти каждый год по несколько раз ездит за границу.

Ещё я узнал, что она скупает у деревенских грибы, ягоды, кедровые орехи, а иногда и мясо сохатого или изюбря. Так же у неё здесь целые плантации клубники, по сорок вёдер собирают, огурцы и капусту засаливают бочками, так что бизнес процветает.

Когда Глаша предложила съездить на лошадях к Речкину, я хотел отказаться: всё же лошадь — не самолёт. Стыдно признаться, но за свои тридцать лет я ни разу не ездил верхом, а срамиться перед Глашей не хотелось. Но она, видимо, поняв, что я колеблюсь, подвела мне высокую сухоногую лошадь, с красивыми и умными глазами, серо-пегой масти, с чёрной гривой и чёрным пушистым хвостом.

— Её зовут Умка, — сообщила она, — та самая, о которой я говорила. Очень спокойная. Это удила, а это путлице — ремень, который крепит стремя к седлу, — старательно, как первокласснику, начала объяснять. — Вот шамбон — для поддержки головы, а это нагрудник, он не даёт седлу уходить назад, а подхватник не даёт седлу уходить вперёд.

Затем Глаша перебросила повод на шею и, подстраховывая, стала с другой стороны. Седло оказалось у меня прямо перед глазами. Я взял поводья, вставил левую ногу в стремя и попытался одним движением, косым прыжком вскочить на лошадь. Но Умка испугалась и сдала чуть вбок, и моя взлетевшая к небу правая нога лишь скользнула по седлу и опустилась в пустоту.

— Вы не торопитесь, — объяснила Глаша. — Не вставайте лицом к седлу, перед посадкой ваша голова должна быть повернута в сторону головы Умки. И не дёргайте за поводок! Она должна понять, что вы хотите сесть в седло.

Вторая попытка оказалось удачнее, я перенёс ногу на другую сторону, зацепившись пяткой, помог себе вползти и плюхнуться мешком в седло, ощутив под собой крупное живое тело, и попытался дрожащими ногами крепко обхватить Умкины бока. Натянув поводья, я увидел перед собой лохматую гриву, лошадь задрала голову и подалась назад, мне на миг показалось, что подо мной, пружиня, присел земной шар. С каким-то обморочным чувством я всё же успел сообразить, что земля, вопреки утверждениям древних, держится не на трёх китах, а на четырёх лошадиных ногах.

— Опустите повод! — командовала Глаша. — Спокойно, Умка, спокойно! — ласково добавила она и, подбежав к своему Угольку, ловко вскочила в седло.



Я успел заметить, что, в отличие от меня, она была в высоких сапожках и тёмных бриджах. “Настоящая амазонка!” — с восхищением подумал я, всё ещё переживая свою неловкость.

— Поводья не натягивайте, но и не отпускайте, — вновь строго, как учительница, с еле заметной, но участливой улыбкой сказала Глаша. — Управляйте ногами или толкайте пятками. Она умная, всё поймёт. Ну что, как сказал Гагарин, поехали!

Управляя машиной или находясь в пилотском кресле, на самой что ни на есть большой высоте, я знал, что сделанная из металла, стекла и пластика крылатая машина полностью подчинена мне, здесь же я думал только об одном — удержаться в седле, и уповал на благоразумие Умки. Как она поведёт себя в следующую секунду, одному Богу известно. Поначалу, когда мы тронулись с места, мне показалось, что езда на лошади чем-то напоминает движение самолёта по неровной рулёмке. Я всем нутром ощущал попадающиеся выбоинки и неровности, точно рулил по просёлочной дороге на полуспусченных колёсах. Но постепенно тело приспособилось к неспешному движению, мне захотелось даже запеть, как после первого самостоятельного полёта, но я не знал, как поведёт себя лошадь от моих восторженных воплей. Поглядывая по сторонам, я вспомнил Шугаева, который в оленьей парке шёл по Иркутску, и жалел, что в этот вечерний час, кроме деревенских собак, никто меня не видит.

Неспешным шагом мы проехали вдоль длинной, заготовленной на сотню лет вперёд поленицы дров Хорева и далее по улице проехали в сторону Змеиной горы, затем свернули к Ушаковке, где на самом берегу стоял дом Коли Речкина. Рядом со старым забором лежали брёвна, которые, как мне говорили, Речкин ещё несколько лет назад, во времена Шугаева, заготовил для строительства мельницы. Увидев разбросанную кору и свежие следы трактора, я понял, что именно отсюда он возил брёвна ко мне на участок.

## ВИСЯЧИЙ МОСТИК

Держась вдоль берега, мы проехали до Змеиной горы, от которой через речку был перекинут висячий мостик.

— Давайте сойдём и постоим немного, — предложила Глаша. — В Добролёте это моё любимое место. Про него у Коли даже есть стихи.

Оставив лошадей, по шатким, кое-где уже подгнившим сосновым досточкам, мы прошли до середины моста; прямо под нами с лёгким плеском и тихим шорохом катила свои воды Ушаковка, правым боком натываясь на бревенчатый остов старой мельницы, и, закручивая в воронках свои тёмные, стального цвета косы, катила дальше, в вечернюю пустоту леса. Глядя на воду, Глаша неожиданно напевно прочитала стихи:

*На висячем мосту у речушки  
Целовал я любимой веснушки.  
О любви нам шептала вода,  
И гудели вдали провода...*

— А ещё можно забраться на Змеиную гору. — Глаша показала на нависший над мостом отвесный каменный утёс. — Коля говорит, что раньше от волков там спасались лоси и отбивались от наседающей стаи передними копытами. Я иногда туда забираюсь. Но не от волков, а так, полюбоваться. Оттуда весь Добролёт как на ладони. А этот мостик кажется игрушечным. Вы заметили, когда едешь верхом, деревня совсем другая. С высоты своего роста многого не увидишь.

— А с большой высоты вообще ничего не разглядишь, — поделился я своим опытом. — Самолёт, словно привязанный, висит где-то между небом и землёй. И ты в кабине, как на верёвочке.

— Коля хочет построить рядом со своим домом, где когда-то стояла мельница, часовню. И освятить её в честь своего деда Спиридона. Его дедушка

был верующим, ходил на Пасху пешком в город, чтобы отстоять там торжественную службу.

— И чего же он не строит?

— Нужно собрать подписи общины. Но пока не набирается необходимого количества, народу мало. Потом должно быть разрешение поселкового совета, который находится в Пивоварихе.

От мостика мы подъехали к дому Речкина. Рядом с массивными тёмными воротами стояла корявая, свесившая свои лохматые ветви на крышу дома лиственница, а чуть подальше, у подножия Змеиной горы, с еле слышным металлическим шорохом шевелила листвой осина. Пригнувшись, Глаша въехала во двор, я же не стал испытывать судьбу, уже более-менее сносно соскочил с Умки и, привязав повод к столбику, вошёл во двор. Дому, в котором жил Речкин, было лет сто, не меньше. Сложенный из толстых вековых лесин, он стоял, показывая всё ещё крепкий бок, и глядел во двор тёмными окнами, в верхних стёклах которых затухал бледный свет заходящего за хребет солнца. Середину двора занимала огромная чурка, вся истыканная топором, на ней Коля колол дрова, некоторые из них, белея круглыми боками, ждали своего часа. Тут же на земле валялся колун, далее под навесом были видны заржавевшие косы, лопаты, вилы, рядом там и сям машинные и тракторные запчасти. Мне показалось, что всё это осталось ему ещё от деда, своего он не приобрёл и, видимо, не считал нужным это делать. Дверь была не заперта. Миновав полутёмные, пахнущие палой листвой и сухой соломой сени, мы вошли в избу, и первое, что бросилось в глаза, грубо сколоченный стол, который, как мне показалось, никогда не сдвигался с места, а рядом с русской печкой на изогнутых дугой полозьях стояло барское кресло-качалка. В переднем углу, вверху на прибитой полочке виднелась икона Николая Угодника. У окна стояла крашенная синей краской, с витыми железными спинками кровать, а рядом, со стаканом в лапе, стояло чучело огромного чёрного медведя. Увидев его оскаленную пасть и вспомнив свою первую ночь, которую я провёл в школе, я подумал, что не хотел бы проснуться и увидеть это чудовище в темноте.

— Многие иностранцы, которые приезжали на охоту, приходили сюда специально, чтобы сфотографироваться с этим чучелом, — сказала Глаша. — Увидят и просто с ума сходят. Аделина Рафкатовна предлагала Коле большие деньги, чтобы забрать чучело себе, но он отказался. С этим медведем у Коли связана какая-то своя история.

Речкин жил нараспашку, в доме у него, как в таёжном зимовье: серо, но просто и удобно, типичное жилище одинокого волка. У входа на гвоздях висели подаренные мною лёгкие ползунки и куртка, чуть сбоку на гвоздях — пара заношенных фуфаяк, сверху на полке лежала форменная, с пластмассовым козырьком, зелёная, с двумя дубовыми листиками, фуражка лесника. И чего я не ожидал увидеть, так это стоящую в углу гармошку.

— Колина, — поймав мой взгляд, сказала Глаша. — Он иногда играет. А уж как запоёт, так все деревенские собаки начинают ему подвывать. Одна из любимых — про сибиряков. Когда у него хорошее настроение, может давать концерт допоздна. Особенно на День Победы:

*Из тайги, тайги дремучей,  
От Амура, от реки,  
Молчаливой грозной тучей  
В бой идет сибиряки...*

— Здешные злятся, жалуются леснику, которого все полищаем кличут. А мне нравится. Особенно, когда Коля поёт про свою любовь из седьмого класса.

Глаша раскрыла прихваченную с собой сумку, вытащила постиранные и поглаженные наволочки и простыни, быстро и ладно, как это умеют делать женщины, сняла с кровати старые замызганные простыни и постелила чистое бельё.

— Да он неприкаянный, сам ни за что не сменит, — как бы оправдывая Колю, сказала она и поправила суконное одеяло. — Может под ним пролежать целый месяц и чаще всего без простыней.

— Всё остальное, мало-мальски ценное, Коля раздал и пропил, — осуждала Речкина Вера Егоровна. — А у самого, особенно зимой, бывают дни, когда в доме шаром покати, даже горбушку хлеба не найти. Тогда его, бедолагу, деревенские подкармливают.

Тут в разговор встретал её муж Богдан Хорев и, крутя пальцем у виска, подводил итог:

— Всё сквозь пальцы, дверь нараспашку, дай волю — пропъёт последнюю рубашку. Что с него взять, Коля перекаати-поле. Сёдня здесь, завтра на Бадане. Одним словом, лесной бродяга.

— Перед тем как зимой приехать в Добролёт, я звоню Коле, — бывало рассказывал Шугаев, — чтоб он напил и наколот дров. А если он в тайге, то звоню Вере Егоровне, так, мол, и так, собираюсь приехать, протопите печи. Они мне никогда не отказывали, протапливали, а я по приезду плачу им двадцать пять рублей в месяц. Зарплату ему в лесничестве часто задерживали, как он сам выражался, если и давали, то после дождичка в четверг.

От Веры Егоровны я знал, что Речкин был внуком мельника, которого ещё перед войной раскулачили и сослали на Бадан-завод. Там и появился Коля, но однажды на охоте его отца задрал медведь. Мать с Колей вернулись в Добролёт, а после, когда она умерла, его отдали в детдом, но пробыл там немного, он сбежал и объявился в деревне, и стал жить в том же доме, в котором когда-то жил его дед. Оставшуюся без хозяина мельницу хотели приспособить под конюшню, но вода подмыла фундамент, она завалилась — и тогда её разобрали на дрова.

Узнав от Шугаева, что в Москве решили восстановить храм Христа Спасителя, Коля заявил, что обязательно восстановит в память о своём деде мельницу.

За окнами во дворе, точно радуясь, что возвратились домой, залаяли собаки.

— Коля! — обрадовалась Глаша. — Вернулся с Бадана. Это его собаки, Милка и Дружок.

## ЧУЧЕЛО

Через пару минут в дом вошёл Речкин, приветливо поднял ладонь и бросил на лавку свою походную котомку. И тотчас в доме пахнуло запахом котрища и терпкого мужского пота.

— Глашка, ставь чайник! — сказал он. — Будем пить чай с лесной смородиной. А ещё я вас угощу губой сохатого.

— А я принесла вареники с черникой, — сообщила Глаша.

— Сойдёт, — засмеялся Коля. — “Арху” случаем не захватили? Сейчас бы с устатку в самый раз.

— Я сейчас слетаю, — сказал я и кивнул в сторону чучела: — Хочется чокнуться и тоже сфотографироваться с этим мишкой.

Когда я вернулся, Коля с Глашей уже наладили стол, я удивился, что всё было красиво нарезано и разложено по тарелкам, даже успели на газовой плите разогреть гречневую кашу и вареники. На отдельной деревянной тарелке лежало что-то похожее на холодец.

— Мы будем пить белое, а тебе, Глаша, налью-ка красенького, — сказал Коля. — Не бойсь, не бойсь, брусничного сока! А это, — Коля кивнул на холодец, — губа сохатого. Когда Клинтон приезжал в Москву, Ельцин такой же губой его угощал. Биллу понравилась. Мериканец ему ремень подарил. Когда я увидел Борису по телюку в Германи, где он отнял у фрицев дирижёрскую палочку и, приплясывая перед канцлером Колем, начал его размахивать, я побоялся, что он потеряет свои штаны. Но, видно, ремень выручил, а потом у якутов, когда он стал плясать в медвежьей шубе, он мне

Топтыгина напомнил, когда тот после зимней спячки начинает муравейники разорять.

— Если бы только муравейники! — сказал я. — Всю страну разорил.

— Точно, — поддакнул Коля. — Был у нас лесхоз, остались одни шмотья. А с этим! — Коля кивнул на стоящее чучело: — У меня, значит, была такая история. Одно время я водил группы туристов в Байкальском заповеднике, чаще всего иностранных. И вот однажды веду я студентов, с десятков французов, двух англичанин и поляка. И ещё были две девочки, симпатичные такие, вроде тебя, Глаша. Все студентки, марафет, губки подкрашены, бровки подведены. Не идут — плывут, будто на танцуйки собрались. Идём мы по тропке вдоль таёжной гари. Наша русская переводчица топает тоненькими худыми ножками и меня подначивает:

*Скажи-ка, Коля, ведь недаром,  
Тайга, спалённая пожаром,  
Французам отдана.  
Медведей нет, тайга пустая...*

— Тайга не бывает пустой! — оборвал её я. А шли мы в гору, вдоль небольшой речушки, чтобы подняться на седловину и спуститься к Байкалу. Для медведя там самая кормовая база, кедровый стланик, бурундуки, марьяны хорошо прогреваются, медведи там частенько пасутся. Скажу я так: медведь, как и человек, всеяден, особенно обожает ягоды, малину, рыбу. У меня на Бадане одно время жил медвежонок, он так пристрастился к сгущёнке, что после того, как я его выпустил на волю, приходил и ждал, когда я ему банку брошу со сгущёнкой. В наших местах у Байкала всегда можно натолкнуться на медведя, хуже того, на медведицу. Особенно, когда она с ребяташками. За них она кого угодно порвёт! Ну. Значится, по распадку ползём вверх на гору, слева — прижим, справа — обрыв, а под ним река шумит. Я впереди, студенты следом, метрах в сорока. И туток навстречу мне катит что-то чёрное. Раньше мне попадались медведи, но с таким громадным и чёрным встретился впервые. Из-за шума реки мы друг друга не слышали и столкнулись лоб в лоб. Потом я замерил, между нами было восемь шагов. Это в песне “до смерти четыре шага”, а у меня было восемь. Я думал, что медведь уступит дорогу, да не тут-то было. Попался мне новый русский. А у них “всё вокруг народное и всё вокруг моё”. Встретились — глаза в глаза. У блатных есть такая угроза: не попадайся мне на узкой дорожке. Гляжу, встаёт он на задние лапы, уши маленькие, он их прижал, а на загривке шерсть дыбом. Настрой у него был плохим, видно, с утра не с той ноги встал. А тут на пути я.

Коля кивнул на початую бутылку:

— А ну, плесни чуток, меня и сейчас дрожь берёт! Так вот, сдёрнул я с плеча карабин и, почти не целясь, нажал на курок. Бабах-х! — Выпучив глаза, Речкин сделал большой глоток: — Попал ему в лоб, а он у него, как броня у танка. Пуля срикошетила, маненько оглушила, он присел и, взревев от злости и боли, рванул ко мне. Я всадил всю обойму во взревевшую и летящую на меня тушу, куда-то попал, гляжу не падает, не удирает, а прёт на меня! Я ружьё бросил ему в харю и в гору. Слышу, за мной хруст камней, хрюкает, лезет вслед. Я дальше, сапоги скользят, сердце поперёк горла. И тут — толстая валежина. Запнулся я об неё и завалился. Почувствовал удар по ноге, он мне вмазал, как колуном, распорол когтями сапог. Уже лежа, я выхватил нож. Гляжу, из-за валежины выползает окровавленная харя и лапой, как бритвой, мне по уху. Мгновенный ожог, боль, на шею потекло что-то тёплое. Я перевалился на спину. И вижу, как он со злобой харкнул мне в лицо кровью и, закатив глаза, скатился с валежины обратно. Всё длилось какие-то секунды. Сел я на валежину, зажал рукой своё ухо, ощущал себя, глянул на лежащую тушу. Он ещё дышал, но через мгновение по лапам прошла судорога. И что меня больше всего поразило, так это тишина; внизу река как шумела, так и шумит, солнышко светит, птички чирикают, почуяв кровь, мошка полезла в лицо. Стал соображать, а где же

студенты? А они ничего и не поняли. Услышали рёв, выстрелы. Смотрят снизу на меня. Глаза по полтиннику. А у меня сквозь пальцы кровь. Выпучив глазёнки, переводчица рот ладошкой прикрыла, ножки у неё подкосились.

— Вот тебе и пуста тайга! Тока после до меня дошло, а что бы мог на творить подраненный Топтыгин? Всех бы смял. Одна из француженок, увидев окровавленного зверя, закатила глаза и свалилась на землю. Ну, а ребята, те — покрепче, быстро достали бинт, перевязали меня. Здесь же у реки остановились, развели костёр. Даже посты выставили, мало ли чего! Начали фотографировать меня, точно я Ален Делон. Ну и, конечно, мишку. Снял я с него шкуру, спросил, может, кто хочет себе взять? Они замахали руками: упаси Господь! — Коля на секунду замолчал, потом встал из-за стола взял гармошку. — Напугал я вас? Лучше давайте поиграю.

— Коля! А можно про семиклассницу? — попросила Глаша. — Ту, у которой были веснушки!

Речкин поставил гармошку на колени, допил водку и, подмигнув Глаше, перебирая клавиши, запел:

*По дороге неровной, по тракту ли,  
Всё ровно нам с тобой по пути!  
Прокати нас, Петруша, на тракторе,  
До околицы нас прокати!*

## ВЕДЬМАК

Как-то в конце августа, отправившись к соседке за молоком, я увидел, как Вера Егоровна перебирает бруснику. Она насыпала в пластмассовый тазик ягоду, включала пылесос, вытяжную трубу вставляла в отверстие, откуда выходил воздух, и направляла её в тазик, при этом из него улетала трава и мелкие листики. Рядом с ней сидела Глаша.

От Шугаева я знал, что раньше вокруг посёлка можно было спокойно, не затрудняясь, набрать банку-другую душистой земляники или красной смородины. Но в этот год то ли действительно, как говорил Хорев, городские повыхлестали, то ли перестала тайга родить, и многие деревенские, чтобы набрать ягод, сядились на мотоциклы и уезжали подальше от деревни к самому Байкалу.

— Где ягоду набрали? — поинтересовался я.

— Здесь, недалеко, на Чёрной Речке, там её полно, — засмеялась Глаша. — Можно грести лопатой.

— А туда на машине можно доехать?

— Легко, если у вас вездеход.

— А ты могла бы показать?

— Легко. Хоть сейчас.

— Вообще, поздновато, — сказала Вера Егоровна, глянув на солнце.

Так же легко, как это мне было предложено, я всё же решил съездить хотя бы разведать, где гребут ягоду лопатой. Прихватив совки и вёдра, взял бабу Клаву и приехавшую погостить с ночёвкой мою старшую сестру Аллу, посадив на переднее сидение Глашу, мы с шуточками и прибауточками поехали на Чёрную речку.

Ягодное место оказалось километрах в пятнадцати от Добролёта. Сказать, что дорога была лёгкой, ничего не сказать. Это была старая лесовозная дорога, избитая, вся в лывах, буграх, канавах и поваленных деревьях. На мотоцикле ещё куда ни шло, но ехать на приспособленной для городского асфальта легковушке оказалось непросто: несколько раз я высаживал своих пассажиров, они, посмеиваясь и подшучивая над собой, начинали толкать машину, помогая мне выбраться на твёрдое место. Через некоторое время мы всё же добрались до Чёрной речки, и я, повинувшись Глашиным указаниям, свернул в сторону, и чуть ли не ползком мы поднялись на пологую заросшую лесом гору.

— Стоп! — поглядывая по сторонам, скомандовала Глаша. — Приехали.

Я выключил мотор, вышел из машины, ещё раз глянул на часы. Обычно по ягоды и грибы собираются с самого утра, но я решил посмотреть и запомнить место, где ягоду гребут лопатами, и засветло вернуться обратно. Конечно, это было легкомысленно, как будто решили прокатиться до ближайшего рынка, где продают ягоду вёдрами. Оставив машину, мы велед за Глашей вошли в лес и через четверть часа действительно натолкнулись на хорошую ягоду, которой были усыпаны покрытые мхом огромные кочки. Стараясь держаться друг друга, мы разбрелись, собирая спелую бруснику. Попадалась и крупная, как картечь, сизая черника. Брели всё подряд, дома всё отсортируется по банкам: красную — в одно место, чёрную — в другое. Вечер выдался пасмурным, солнце уже не казало глаз, нам досаждал таёжный гнус, лез в глаза, кусал и шивался во всё, что не было прикрыто одеждой. Я, собирая ягоду специально изготовленным на авиационном заводе лёгоньким совком, сделанным из титановой жести и похожим на проволочный гребень или, как его называли местные, комбайном, быстро набрал ведро. Затем снял с себя штормовку, завязал на ней рукава, затянул шнуровкой капюшон, наполнил и его.

— Ну, ты и хапуга! — посмеялась надо мной сестра. — Всю тайгу с собой не заберёшь. Оставь хоть немного лесным зверькам.

— Ничего, здесь всем хватит!

Начало смеркаться, откуда-то потянуло вечерней сыростью, и мы решили выходить к машине. Собравшись в кружок, подвели некоторый итог — вся прихваченная с собой посуда была заполнена.

— Молодцы! — похвалила всех баба Клава.

— Надо выходить, — сказала Глаша, — а завтра можно приехать ещё. Место теперь знакомо.

И здесь я допустил промах, предложив выйти к машине напрямик. Шлишли, а машины нет и нет. Решили вернуться, походили, покружили вокруг да около. Обычно, собирая грибы или ягоды, всё время держишь в голове сторону, где стоит солнце, но оно уже успело спрятаться в чащобе. Начало смеркаться. И тут до меня дошло — мы заблудились. Но признаться, что я вот так среди трёх сосен потерял ориентировку, у меня не хватило ни ума, ни смелости. Поняв, что промахнулись, мы начали уже в спешке кружить, искать тропу, но тщетно: все деревья, пни и поляны на одно лицо, нужная нам тропинка где-то рядом, но упорно не хотела попадаться под ноги. Таёжный ведьмак решил поиграть с нами, а может, и проучить, и прятал от нас верное направление. Уже в темноте, спустившись по склону, мы неожиданно вышли к маленькой речке, которая своими размерами совсем не походила на Чёрную. Идти вдоль неё с полными ведрами невозможно: скрываясь среди чащобы, она уходила куда-то в подступающую тьму. Уже окончательно поняв, что заблудились, мы решили остановиться и заночевать в тайге. Составив вёдра под огромный выворотень, я велел женщинам собирать сухой валежник, чтобы развести на ночь костёр. Поскольку поехали всего-то на полдня, мы допустили ещё одну ошибку — никто не взял с собой тёплой одежды и еды. Под выворотнем я ногами разровнял песок и разжёл на нём костёр. Затем попросил надёргать травы и мох и сложить кучей у костра. Когда валежник прогорел, мы сгребли головёшки в сторону и на месте кострища настелили подстилку из травы и мха. Закрыв одну сторону вёдрами, я уложил своих спутниц на лесную перину и накрыл их сверху нарезанным пихтовым лапником и тонкими берёзовыми ветками.

— Ах, да здесь тепло, как в бане, — откуда-то из-под веток с удивлением сообщила баба Клава. — Вот уж не предполагала, что буду спать на такой таёжной перине. Пахнет, как в аптеке.

Для того чтобы одеяло из пихтовых веток лежало плотнее и не пропускало тянущую от реки сырость, набросил на него сверху несколько увесистых валежков. Сам же неподалёку от этой лежанки развёл новый костёр. По моему замыслу, тепло от огня должно было отражаться от стоящей стенкой от корня выворотня, делая для лежащих тёплый закуток. Вскоре наш вынужденный таёжный бивак обступила ночь, без обычных в этих местах звёзд, и это обстоятельство радовало, поскольку ночь обещала быть

тёплой. От речушки всё же тянуло ночной сыростью, вокруг стояла крошечная тьма, которую, помаргивая, отодвигал мерцающий огонь ночного костра. Где-то ухал филин, над головой пронеслись ночные птицы. Подкидывая в костёр валежник, я пытался восстановить весь наш путь к ягоде, куда сворачивали, где останавливались, отыскивая в памяти, где и в какой момент мы допустили промах. Мои размышления прервал сухой и резкий, как выстрел, треск. Вздёрнув голову, я подбросил в огонь сухих сучьев и неожиданно сквозь листву стоящего неподалёку можжевельника увидел красноватый блеск медвежьих глаз. Выдернул из костра горящую палку и, подняв её над головой, вновь посмотрел в сторону, где мне почудились поблескивающие глаза хозяйна тайги. С головёшки, потрескивая, летели искры. Пламя, лизнув обугленную кость дерева, отодвинуло от костра темноту, но почудившихся мне медвежьих глаз я не отыскал. “Показалось?..” — подумал я.

Неожиданно совсем рядом у меня за спиной послышался шорох, скосив глаза, я увидел, как из-под лапника вылезла Глаша, поправила на голове повязанный платочек и, хлопая сонными глазками, приветливо махнула мне ладошкой, села рядышком, обхватив руками колени.

— Может, поспите, а я покараулю, — предложила она. — Так нечестно, мы спим, а вы сидите. Мне что-то страшное приснилось. Будто кто-то за нами подглядывает. Коля пугал меня, говорил, что здесь по ночам лешие бродят.

— Это мы сегодня бродили, — улыбнулся я. — Ты лучше иди и ложись.

— А мне не спится. Я себя чувствую виноватой. Сама заблудилась и вас заблудила. Я пожалела, что не поехала с вами на лошади, думала туда-сюда, быстро вернёмся.

— Ничего, станет светло, найдём дорогу. Я тоже дал маху, собрался, как на базар.

— А мне здесь нравится, — призналась она. — Кажется, что мы одни во всём мире. Кто вас этому научил? — Глаша кивнула на лесную спальню.

— Отец, — ответил я. — Мы с ним часто ездили в тайгу. Сбором ягод занималась вся наша семья. На зиму заготавливалась восьмиведёрная бочка. Прибежишь со школы, наскребёшь тарелку — и лопаешь...

— Я заметила, вы хорошо собираете ягоду. Не многие деревенские могут так. Видела, как ваши пальцы держат кисть, а сегодня — совок.

— Нынче совок ругательное слово, — усмехнулась я. — Мне пришлось учиться всему. Это сегодня многие считают, что картошка растёт в магазине. Вот у Коли — золотые руки. Какие шляпы и туески делает!

— Но он лосей и медведей стреляет. И ругается нехорошими словами, — шмыгнула носом Глаша. — А я всё равно его люблю. Коля добрый. Его все деревенские ребятишки любят. И лошади!

— Я это заметил.

— У меня часто бывает так: когда ко мне приходят плохие мысли, я их гоню, а они всё равно приходят. Наверное, надо не злиться и не ссориться, и не говорить плохих слов. Когда мы заблудились, я несколько раз просила Его помочь нам найти дорогу, — созналась Глаша и, глянув куда-то вверх, перекрестилась. — Мне почему-то казалось, что с вами мы не заблудимся. — И, помолчав немного, поглядев в потрескивающий костёр, предложила: — Хотите я расскажу вам, как в позапрошлом году ездила с Аделиной Рафкатовой в Де-Мойн, это штат Айова в Америке. Там её брат живёт. У него ранчо. Про них там говорят: redneck state — красношее. А у нас такой Коля! — вновь засмеялась Глаша. — Он даже не с красной, а с чёрной шеей. Только я ему не говорю. Рассердится. А там на ранчо мясо у них и то какое-то — artificial. Искусственное. Но они хвалятся, что экологически чистое. Я там даже поехала на лошадях!

— Ну и как, они тебя слушались?

— Поначалу боялась. А потом ничего! Меня даже прозвали “маленьким ковбоем” — They even called me “the little cowboy”. — Глаша рассмеялась. — Пожили, погостили — домой потянуло. Мне показалось, что они там спят с компьютером. Всё учтено и просчитано, кому сколько и чего. А здесь? Вот так бы сидела и сидела у костра.

— А как же Умка?

— Она бы нас сегодня вывела, — подумав немного, ответила Глаша. — Коля мне рассказывал, что, когда заблудишься, надо довериться лошади. Скажите, а вам приходилось теряться? На самолёте?

— Приходилось. Это когда я летал на “Аннушке”.

— И что?

— Искал землю...

— Как это искать? Она всегда под нами.

— Это когда ты на ней стоишь. А в воздухе всё по-другому. В пилотской кабине вместо земли металлический пол. А под ним облака. И ничего более. Смотришь вниз, а там молоко. Глазам не за что зацепиться. Будто подвесили тебя между небом и землёй. Сегодня я поймал себя на том, что идём по лесу, ищем тропу, а глазу, как и в небе, не за что зацепиться. Деревья, горки, склоны — все на одно лицо. Солнца нет, неба нет, куда идти, одному Богу известно.

— Интересно. Но кто-то вам всё равно помогал? — Глаша замолчала, в её глазах заплясали далёкие нездешние огоньки. — Там же у вас приборы!

— У меня там не было Умки, — засмеявшись, пошутил я.

— Она большая и туда не войдёт.

— Почему же? Мне приходилось перевозить и лошадей.

— А я бы с вами полетела. И мы бы не заблудились. Потому что сверху всё равно видно дальше.

— Не всегда.

— С кем не бывает, — рассудила Глаша. — Зато будет что вспомнить. Ночь, тайга, костёр... Только не хватает песен. Единственно, с кем я могу здесь говорить, кому довериться, это лошадям. Ну, может быть, Коле.

— А как же Аделина Рафкатовна?

— У неё на уме одно — бизнес. И как она выглядит среди тех, кого привозит сюда! Меня она не спрашивает, хочу я в Америку или нет. Для неё этот вопрос решённый: если получать образование, то только там. Тогда всё у меня будет в шоколаде. Я всё время хотела у вас спросить, можно ли нарисовать тишину или свежий таёжный воздух?

Я пожал плечами:

— Гениальные художники, наверное, могут.

— Так зачем мне внушают, что полотно Мунка “Крик” гениально? Он больной, и это видно сразу. А ещё! Можно ли остановить время?

— Это сделать просто, — засмеялся я. — Надо нажать кнопку фотоаппарата. На снимке будет запечатлено остановленное время. Если на картине тебе удалось поймать движение — это уже удача. А многие восклицают: “Ой, как похоже!”

— Мне кажется, что для меня время сейчас, здесь остановилось. Почему люди стараются прикрыть свои недостатки? Одеждой, макияжем, словами, в которые они сами не верят, или когда надо спрятать свои мысли.

— Задача настоящих художников или писателей состоит в том, чтобы с таких людей снять эти одежды и показать их такими, какие они есть.

— Интересно, — вздохнула Глаша и неожиданно призналась: — А ещё я люблю здешнее молоко и хлеб. Вера Егоровна говорит, это потому, что коровы пасутся на сочных таёжных лугах, и если даже лето будет засушливым, то они заберутся в лесную чащобу. И, конечно же, люблю хлеб. Его здесь выпекают мягким и ароматным, за один присест можно целую буханку съесть...

Мы, как по команде, замолчали, каждый остался наедине с собой: она со своими мыслями, я со своими. Но судя по всему, они были об одном и том же. После того как Глаша напомнила о молоке с хлебом, я почувствовал, что хочу есть. Наверное, и она думала о том же. Время от времени я подбрасывал в костёр сучья, не давая ему замолчать, чтобы продолжать делать свою ночную работу.

*Где же ты теперь, моя девчонка?  
Что за песнь поёт тебе тайга...*

— тихо, чтоб не разбудить спящих, промурлыкал я.



Глаша искоса, быстрым взглядом, поглядела на меня, точно спрашивая, а что там дальше? Я улыбнулся и шутливо продолжил:

*...Кто тебе греет ма-а-аленькие ножки  
У огня лесного очага?*

— Здесь я, — шмыгнув носом, шепнула Глаша, — и мне совсем не холодно.

И через секунду, закрыв глаза, продолжила:

*Все важные фразы должны быть тихими,  
все фото с родными всегда не резкие,  
самые странные люди всегда великие,  
а причины для счастья всегда не веские.*

— Вашу песню я где-то слышала. Только вы слова поменяли, — Глаша зевнула. — А мне совсем не хочется спать.

— Чьи стихи? — поинтересовался я.

— Оксаны Мельниковой, — ответила она и снова замолчала.

Через какое-то время я заметил, что она уронила голову на сложенные на коленях руки и притихла. Я обхватил её за плечи, и она, почувствовав опору, тихо, как-то по-детски прислонилась ко мне голову, от волос шёл запах домашнего тепла и почему-то, мне показалось, запах спелой смородины. Гнус куда-то пропал, видимо, устал от дневной работы, улёгся спать, как и всё живое в тайге. Мне было приятно ощущать рядом с собой Глашину тёплую доверчивую лёгкость и слушать такое же лёгкое и ровное дыхание.

Вскоре начало светать, разворотив пихтовое одеяло, сестра с бабой Клавой вылезли из своей берлоги и, настороженно поглядывая по сторонам, должно быть, не до конца осознав, что вот так нечаянно им пришлось коротать ночь в лесу, сгрудились вокруг костра и стали греть руки над покрытыми пеплом угольками. Посоветовавшись, решили подняться в гору, чтобы оттуда осмотреться и восстановить ориентировку. Перед тем как двинуться в путь, я всё же решил проверить то место, где мне почудились медвежьи глаза. И каково было моё изумление, когда я увидел лёжку и свежий, ещё тёплый медвежий помёт. Я не стал пугать женщин; забрав свою поклажу, мы поднялись в гору. По пути я вспомнил рассказ Хорева, как однажды двое ягодников бродили в этих местах целую неделю, пока, голодные и оборванные, не вышли на Большую речку и там наткнулись на человека, который косил траву.

— А были случаи — люди пропадали совсем. В тайге всё может быть.

Я подумал, что в Добролёте, узнав, что мы не вернулись из тайги, возможно уже ищут. Где-то через полчаса мы поднялись в гору, и уже наверху, завидев вдаль синие хребты, я посчитал, что это хребты у Байкала и нам лучше идти от них в противоположную сторону. Перед этим я оглядел невысокие лесины и по замшелости на стволах попытался определить, где северная и где южная сторона, и представив перед собой полётную карту, вспомнил, что Байкал тянется с юго-запада на северо-восток, значит, нам следует идти от него в противоположную сторону на северо-запад. И мы двинулись прочь от синееющих хребтов в другую сторону. Через час ходьбы, которую и ходьбой было назвать трудно, — мы буквально продирались сквозь лесную чащобу — спустились вниз к небольшой, местами уходящей вглубь под валуны и зелёный мох таёжной речушке и пошли вдоль неё вниз по течению. Я старался выбирать мало-мальски пригодные для ходьбы коридорчики, чтобы не наткнуться на стоявший стеной чапыжник. Так мы одолели пару километров и, обессиленные, решили сделать ещё один привал. Прижав губами, все начали жадно пить ледяную воду.

— Всё, подъём! — скомандовал я. — Вода холодная, можно простыть. Надо идти.

— Вы как хотите, а я останусь здесь, — взбунтовалась баба Клава. — Буду от медведей прикрывать ваш отход. Я старая, они меня не тронут.

Глаша подошла к ней и взяла её ведро с ягодой.

— Давайте я вам помогу. Я совсем-совсем не устала.

— Видел бы Господь наши мучения, — вздохнула баба Клава. — И в чём мы перед Ним провинились?

За всё время это была первая и единственная жалоба, про себя я удивлялся терпению и спокойствию моих спутниц. Вздыхая и хватаясь за поясицы, они поднялись и, подшучивая друг над другом, гуськом тронулись за мной. Я решил держаться русла реки, всё равно она должна куда-то нас вывести. То и дело натыкаясь на выворотни и стволы упавших деревьев, на острые засохшие ветки, которые цепляли и рвали одежду, мы неожиданно для себя вновь вышли к месту нашей ночёвки. “Неужели и правда нас по тайге водит ведьмак?” — мелькнуло в голове. Женщины обнаружили медвежью лёжку и свежий помёт и с тревогой начали переглядываться, и смотреть на меня: куда я их завёл?

Вспомнив, что на горе было светлее и, как мне показалось, теплее и веселее, чем в этом глухом распадке, я повёл моих боевых подружек в гору. Пыхтя и чертыхаясь, мы всё-таки влезли на неё, но оказавшись на самой вершине и оглядевшись по сторонам, каких-то знакомых и зримых примет, по которым мы могли бы, говоря авиационным языком, восстановить потерянную ориентировку, мы не нашли. Вокруг стояла глухонемая тайга, лишь высоко в небе, нарезая круги, парил кобчик. Но и он мало чем мог помочь нам. И даже далёких байкальских гор и хребтов на сей раз не было видно. Как назло, начал накрапывать мелкий осенний дождь. Подумав, я решил взять на этот раз левее и идти вдоль горной седловины. Часа через два обессиленные, с расцарапанными руками и лицами, мы сделали ещё один привал. И неожиданно услышали далёкий выстрел, за ним ещё один.

— Нас ищут! — закричала сестра.

И мы вновь, уже с воскресшей надеждой, чуть ли не бегом стали подниматься в гору, в ту сторону, откуда прозвучали выстрелы. Этот склон мы осилили быстро и, очутившись на горе, вновь услышали выстрел. Он прозвучал гораздо ближе. Мы все как один заорали: “Эй, эй, мы здесь, здесь!”

Через несколько минут раздался ещё один выстрел. Мы с криками выскочили на тропу и увидели всадника. Это был Коля Речкин.

— Я знал, что вы всё равно выйдете к реке и пойдёте вниз по течению, — сказал он и протянул фляжку. — Там чай со смородиной. Промочите горло.

У машины мы увидели сидящим у костра Витька, который чуть ли не со слезами на глазах бросился обнимать бабу Клаву.

— Слава Богу, нашлись! — бормотал он. — И как же вас так угораздило?

## БАНЯ

После отъезда в город моих добровольных помощников я, по совету Речкина, решил приступить к строительству бани. Предполагая жить в Добролёте долго, я решил сделать то, чего не успел сделать Шугаев, но сделал Василий Макарович Шукшин. В Сростках, рядом с домом матери, он срубил баню и, говорят, гордился этим больше, чем “Печками-лавочками”.

— Для бани лучше всего подходит осина. Особенно в парной. Брёвна я заготовил зимой, — сообщил мне Коля Речкин. — Тогда движение сока почти нет. Ты пока ошкури брёвна. Мох у меня есть, я тебе принесу. Но можно использовать крапивную паклю. Бак для нагрева воды лучше всего сварить из нержавеющей стали. Вода в ней будет без ржавчины. Камни я подберу. С ними тоже всё непросто. Некоторые при накаливании выделяют сажу и газ. Затем продумай в парилке вентиляцию. Выходное отверстие надо делать выше входного. Двери должны открываться наружу. Мыло, шампуни и прочие специи в парилке не держи. Они сойдут в бане по-чёрному, а здесь никак. В баньке всё должно пахнуть деревом. Под полом парилки необходимо сделать сток наружу из цемента. Чтоб всё стекало за пределы бани. Топить печь лучше всего берёзовыми поленьями, а не лиственничными. Никогда в топку,

да и на раскалённые камни не брызгай маслом и прочей ерундой. Сёдня мода пошла, вроде бы для запаха. Запах даёт берёзовый лист, а от всего остального только голова болеть будет. Веники заготавливают, когда лист только набрал сок. Нарубишь, соберёшь и развесь под крышу. Перед тем как попариться, надо веник окунуть и подержать в тазике с горячей водой. Чтoб лист стал помягче. Купи войлочные шапки, полотенца, желательнo махровые. — И, глядя куда-то в себя, начинал гладить себе грудь и тяжело вздыхал: — У тебя чё-нить осталось? У меня тут за стенкой трубы горят!

Я шёл в дом, наливал в стакан водку и выносил Речкину. Он интеллигентно двумя пальцами брал стакан, проверял прозрачность продукта на свет и одним глотком осушал его.

— Ну что, полегчало? — мысленно ругая себя за свою податливость и желание угодить, спрашивал я.

— Ты спас меня, — уже с улыбкой отвечал Речкин. — Я заметил, что даже лошади не любят, когда я с похмелья маюсь. А у этого, — Коля кивал в сторону дома Хорева, — святой воды не выпросишь.

— Так он, должно быть, печётся о твоём здоровье? — пошутил я.

— Он печётся о своём кармане! — медленно, точно печатая на машинке, выговаривая каждое слово, сказал Коля. — Всё ему мала. А тебе спасибо, спасаешь меня. Я бы не пил, чё эту дрянь глотать. Когда я делом занят, мне её даром не надо. — Оглядев повеселевшим взглядом двор, сваленные брёвна, лежащий топор, Коля, откашлявшись, добавил:

— Я ведь Славке Шугаеву предлагал построить баню. Баня, она, как якорь, держала бы его на этом месте. А его поманили огни большого города. Смотреть на всё и вся сверху. Когда-то и мне город казался большой горой, с которой всё видно. Про Москву вообще не говорю, чё-то вроде нашей Змеиной горки. Там всё время надо быть начеку, варежку раскрыл — в любой момент могут ужалить. Но залезть и на всё посмотреть сверху, ох как хотелось! Мальцом я забирался на крышу мельницы песни попеть, петухом покричать. Или лез на Змеиную. А когда наорусь и спущусь вниз, всё становилось на своё место, то сделать надо, другое. Здесь, в деревне, без дела погрёшь.

Коля вновь вздохнул, глянул на пустой стакан и, откашлявшись, продолжил:

— Шугаев после отъезда в Москву пару раз сюда наведывался. Тянуло его в наши края, походить по тайге с ружьишком, поохотиться. Он это дело любил. В последний раз, мать ты моя, гляжу прикатил не с женой, а с московской кралей, шепнул мне, что это внучка поэта — Серёги Есенина. Её, кажется, Маринкой звали. Остроносенькая, ловкая, вся из себя московская, в обтянутых джинсах и тоненьком свитере, чтоб всё, что при ней, было подчёркнуто и обозначено. Ну, мужики, знамо дело, на это западают. Мне она показалась ему дочкой. Любила лица разглядывать, отыскивая в наших деревенских азиатские черты. Я ей говорю: да у нас здесь в деревне почти все западенцы. У неё глаза по полтинничку. Не поверила! Решил я ей подарок сделать, чтобы Шугаеву приятно было. Достал с чердака рога изюбря. Мощные, красивые, лаком покрыты, на них бы вся Москва глаза тарасила. Она: ой, ой — это не мне! Это Вячеславу Максимовичу! Он как-то странно зыркнул на неё, затем на меня, я потом догадался, что допустил промашку. Когда она отошла по своим надобностям, сунул ему гостинцы: баночки с медвежьим жиром, струей кабарги и настойку с оленьими пантами, вроде бы как намекая, что ему с такой московской штучкой работы — непочатый край. Сила у мужика должна быть, как во время гона у сохатого. Говорю, согдится, если вдруг чё откажет. Он засмеялся и попросил для Маринки соболей на шапку. Она его на Змеиную потасила, Добролёт сверху посмотреть, а у меня в голове мелькнуло: всё, отохотился Славка, придётся ему не о книжках думать, а ублажать москвичку, они капканы умеют расставлять...

Закончив свой рассказ, Коля, ссутулившись, шёл на конюшню к лошадям Росомахи.

На листе ватмана угольком, который использовал для рисования, я сделал чертёж будущей бани, затем посчитал, сколько брёвен понадобится на

сруб, потом ошкурил их, разметил по длине металлической рулеткой и отпилил лишнее бензопилой.

Заслышав звук работающей пилы, во дворе появлялся Хорев и, присев на бревно, смотрел, как я управляюсь с бензопилой.

— Ты не рви, не дави цепью, — советовал он. — Она сама возьмёт столько, сколько надо. Сруб собирают чашей вниз, чтобы вода и влага не скапливались и не приносили вреда, — продолжал делиться плотницкими премудростями сосед. — Необходимо учитывать направление годовых колец на древесине. Внутрь сруба бревна нужно укладывать южной стороной, где годовые кольца шире, а снаружи следует располагать северную сторону дерева, где кольца плотнее. Это тебе поможет улучшить теплозащиту сруба.

Под его доглядом я выложил оклад из пилёного лиственничного бруса, промазал его кипячёным льняным маслом, затем принялся таскать, укладывать и рубить осинового брёвна, готовя их для укладки. Стальным, остро заточенным скребком, кованным ещё Колиным дедом Спиридоном, выбирал ложбину, топором вырубал круглую чашу, чтобы в неё можно было уложить очередное угловое бревно соседней части венца. Поднимал бревно на венец, клал мох и принимался за следующее бревно.

Топор стал как бы продолжением моей руки, и я, тюкая им, почему-то вспоминал своего отца, когда он вот так же, когда на свет появился мой младший брат Саша, решил возвести новый дом и днями, с утра до вечера, вот так же одним топором и пилой возводил бревенчатый сруб нашего будущего дома в Жилкинском предместье.

Закончив дневные дела и поужинав, я присаживался на высокое, сработанное ещё дедом Спиридоном, похожее на трон кресло, спинка которого была разукрашена круглыми набалдашниками, и начинал листать журнальные подшивки. Я знал, что это кресло принёс Шугаеву Коля Речкин. Сказал, что оно досталось ему от деда, который, по словам Речкина, любил читать про Льва Николаевича Толстого, который, как простой крестьянин, пахал землю, катался на велосипеде и шил сапоги. Я знал, что многие русские писатели любили разнообразить свой досуг: например, Николай Васильевич Гоголь, кроме написания “Мёртвых душ”, ещё кроил батистовые платки и чинил шинели, Михаил Юрьевич Лермонтов писал картины, Иван Сергеевич Тургенев занимался охотой, Александр Иванович Куприн увлекался авиацией, плавал, играл в лапту.

Посматривая на стоящий этюдник, я усмехался про себя: за последние дни топор, а не мастихин или кисть, стал главным инструментом в моей деревенской жизни. А ближе к вечеру, уже коротая время за журналами, я ждал, когда на дороге верхом на лошади появится Глаша, да ещё на пару с другой лошадей. И тогда я, бросив листать журналы, выходил во двор, чтобы вместе с ней проехаться по вечерней деревне.

— Завтра мы собираемся купить коней, — сообщила она. — Будет время, приходите на Ушаковку.

— Если успею скроить батистовые платки, — смеялся я. — И наконец-то освобожусь от топора.

## МАЛЕНЬКИЙ КОВБОЙ

На новом для меня месте это был мой первый пленэр. Прихватив холст и этюдник, в назначенное время пришёл на берег Ушаковки, подыскал плоский, выпирающий из воды, большой, как блин, валун, снял, как все деревенские, резиновые калоши и принялся устанавливать треногу с закреплённым на ней ящиком. Сидел, ждал, смотрел на Ушаковку и размышлял о невозвратности проходящего времени, о том, что каждый новый день не похож на тот, который был вчера. И чем запомнится мне этот день и какой след оставит в памяти? А может, сотрётся, как и прежде? Прошедшее можно записать на бумаге, то, что доступно глазу, можно оставить на холсте. Последнее повальное увлечение — делать селфи, снимая себя со всех ракурсов. Придумали всевидящий глаз, который направлен только на себя. Только для

того, чтобы потешить своё самолюбие. Глядя на Ушаковку, я вспомнил, что раньше по ней сплавляли лес. Река как была, так и осталась, но, чтобы сплавлять лес, не стало в ней той воды и той силы. Реки мелеют, люди мельчают, климат меняется, хотя ход солнца всё тот же, летом чуть повыше, зимой чуть пониже с одного конца на другой.

Помню, как меня поразила рязанская река Вожа, на которой русские войска разбили татарского мурзу Бегича. Перед битвой на Куликовом поле Дмитрий Донской приказал навести мосты для переправы через Дон, чтобы иметь за спиной полноводный рубеж. Как-то проезжая по тем местам на машине, я обратил внимание на водоёмы, и меня поразили реки, которые даже и не реки, а заболоченные речушки, их коровы могут перейти, но замочив живот.

Жизнь приходила сюда, на это ромашковое поле и уходила. И вот опять в новом обличье. Что я есть на этой земле? Всего лишь маленькая частица. Особенно остро ощущалось это в кабине самолёта. Земля — в одну сторону, кабина — в противоположную. Я пытался внушить себе, что я не тварь безответная. И каждый раз, просыпаясь, я благодарил Господа нашего за то, что дал мне счастье встречать рассвет, видеть солнце, слушать, как рядом несёт свои воды река, как в августовскую воду тихо и неспешно слетает жёлтый лист, и течение уносит его, вместо плотов и брёвен, своего неожиданно упавшего с небесной высоты попутчика, который, доверившись воде, маленьким жёлтым парусником поплыл к другим землям и морям, как это было и сто, и тысячу лет назад.

Бегущая вода приятно освежала, тёплое, ещё летнее солнышко, облокотившись на затылок, улеглось мне на спину. Время от времени я поглядывал в сторону бревенчатого забора, угол которого почему-то напоминал мне казацкий острог.

Вскоре появилась и натура. Но не оттуда, откуда я ждал. Из бревенчатой стены острога со стуком упало одно бревно, за ним другое. Из открывшегося проёма первым на гнедом жеребце выехал Коля. Глянув на него, я чуть не свалился с камня. Зная, что придётся позировать, Речкин надел на себя тёмно-зелёную, с мелким рисунком спецназовскую куртку, видимо, оставшуюся ещё со времён службы в армии, и напялил на голову форменную фуражку лесника. “Всё на месте, не хватает только бронежилета и ружья”, — подумал я, пытаюсь скрыть улыбку. А следом был парадный выезд маленького ковбоя. В белой блузке, поверх которой был синий фартучек на лямках, волосы заправлены под желтоватую, сделанную из берёсты, огромную шляпу, которую, как я выяснил позже, выкроил и сшил длинными жгутами из корней тальника Речкин. Но это ещё не всё! На шее у Глаши был повязан красный, похожий на пионерский галстук, платок. Не теряя времени, я стал быстро набрасывать цветными мелками сидящую на лошади девушку. Несколько раз я просил её слезть и вновь сесть на лошадь, пару раз по моей команде она проскакала мимо меня. Я видел, что ей нравится вся эта канитель с рисованием, ведь всё это затеяно для неё одной. Разогнав лошадь, она неслась мимо, выставив вперёд плечо, из-под острого обреза шляпы строила мне глазки, затем вновь возвращалась и медленно наезжала на этюдник, или, сорвав с головы шляпу и разбросав по плечам волосы, уносились прочь. Наконец, видимо, устав, спрыгнула с лошади, надув губки, присела на пенёк и с серьёзным, немного грустным выражением лица стала смотреть на тихое, почти не слышное течение реки.

— Всё, побаловалась и хватит! Надо искупать Умку, — и начала доставать из сумки шампунь, щётку, скребок, прихватив стоящее на земле ведро.

Глаша завела лошадь в реку, помахала рукой Речкину, который чуть ниже по течению, за кустами, освободившись от камуфляжа, поливал водой лошадей и расчёсывал металлической щёткой их мокрые бока. Я продолжал раскрашивать и уточнять свои наброски и не видел, как сзади из-за кустов верхом на лошади появился лесник и, неожиданно хлестнув плёткой, погнался в мою сторону. Заслышав топот, я оглянулся: прямо на меня, фыркая, выпучив огромные глаза, летело косматое чудовище Старухин, но в последний момент лошадь, точно испугавшись и едва не задев меня, вильнула в сторону, окатив вспененной копытами водой.

— Ты чего, сдурел! — закричал я, стряхивая с холста брызги.

Пролетев мимо, Старухин оглянулся и, подняв коня на дыбы, развернул его и снова погнал в мою сторону. “Да он пьян!” — мелькнуло у меня в голове, а пьяному, как известно, море по колено. Поигрывая бичом, лесник подъехал ко мне:

— Ты чё-то сказал? А ну, повтори!

Я положил коробочку с красками на валун, прикрыл её тряпкой и направился к лошади.

— Стой! Стой, тебе говорю! — кривя лицом, взвизгнул лесник и ударил бичом по воде. Прижав уши, лошадь под губастым прынула в сторону.

Краем глаза я увидел, что к нам прямо по воде, шлёпая резиновыми сапогами, ругаясь и матерясь, бросился Коля. И тут откуда-то из-за кустов на полном скаку вылетела Глаша. Вспенив и разбрызгивая воду, Умка влетела между нами, отделив меня от сидящего на коне лесника, и я увидел, как в замедленной съёмке, что конь под ним резко присел на задние ноги и в воздух взлетели резиновые сапоги губастого. Перевернувшись через голову, лесник мешком шлёпнулся в воду, не понимая, что произошло, начал протирать глаза и шлёпать по воде руками. Тут подбежал Речкин, схватил его за шиворот и несколько раз окунул головой в Ушаковку, но, услышав щенячий визг, отпустил занесённую для расправы руку.

— Пей, да знай меру! — стал наставлять Коля лесника. — Захотел получить медаль? Я тебе столько медалей наставлю, бодяги не хватит!

## РОСОМАХА

Собрав этюдник, я попрощался с Глашей и Колей и пошёл домой. Пьяная выходка лесника огорчила. “Дураки на свете не перевелись и не переводятся”, — думал я, шагая по тёплой траве босыми ногами, и, вспомнив летящую на Умке Глашу, вдруг ощутил на лице непривычную для себя затаённую улыбку, такого со мной давно не случалось.

Подходя к деревне, увидел у высоких ворот, за которыми была усадьба Росомахи, как из подъехавшего чёрного блестящего “опеля” с разноцветными бумажными пакетами вышла по-городскому одетая молодая женщина, коленкой прикрыла дверцу и, как старому знакомому, улыбнулась мне.

— Как вам в наших краях? — поинтересовалась она, поглядывая на мои босые ноги. Поймав её взгляд, я вытащил из пакета резиновые калоши и сунул в них ноги, про себя отметив, что слово “наших” не распространяется на меня, по всей видимости, я здесь стал одним из очередных приехавших из города дачников.

— Ничего, жить можно, — пожав плечами, ответил я.

— Конечно, здесь рядом нет Байкала, но дорогу скоро достроят, час езды — и ты в Голоустном, — и с неким оттенком артистизма вздохнула: — Люди здесь простые, грубоватые, каждый живёт сам по себе, за своими стенами и заборами.

— Что поделаешь, лесной кордон. А люди, они везде одинаковы.

Я догадался, что передо мной стоит та самая Росомаха, о которой так много говорили в деревне. Голос у неё был мягкий, приятный, грудной. Была она из тех, про которых говорят “приятная во всех отношениях” женщина.

— Ну, не скажите! Когда я впервые приехала сюда, увидела ромашковое поле, послушала рассказы о прежнем житье-бытье, у меня возникла мысль построить здесь усадьбу, но не в деревенской черте, а чуть поодаль, места здесь много. У меня были планы — здесь, на берегу Ушаковки, поставить охотничий домик, эдакую маленькую гостиницу, где можно было бы переночевать, поест, развлечься и отдохнуть от городской суеты. Ехать туда, где ногу поставить негде, где всё затоптано и заброшено пивными банками, окурками, пластиковыми пакетами — нет, это не по мне! О вас я уже слышана, вы живёте на бывшей даче Шугаева, — помолчав немного, продолжила: — Я его знала. Он наш, мензелинский, из Татарстана. Одно вре-

мня Вячеслав вёл телевизионную передачу “Книжная лавка”. Особенно запомнился мне его рассказ, как они с Александром Вампиловым на подмосковной даче встречались с Твардовским. Шугаев прочитал тогда стихи Твардовского про его маму и как её хоронили. Меня даже слеза прошибла. — И, видимо, желая сделать мне приятное, добавила: — Мне Глаша про вас все уши прожужжала! Да что мы здесь стоим? Давайте зайдём ко мне, выпьем кофе, поговорим. Как-никак мы теперь соседи. Глаша показывала ваш рисунок. Вы где учились?

— В лётном училище.

— Там что, учат рисованию?

— Там учат летанию. А это у меня хобби. С детства. Когда заходил в магазины, смотрел кисти, краски и почти всегда покупал. А вот писать не было времени. Теперь решил наверстать упущенное.

— Неплохо для начинающего. Можно, я сделаю вам предложение? Ко мне сюда приезжают гости, отдохнуть, поохотиться, посмотреть на деревню. Они бы с удовольствием купили свои портреты.

— Спасибо. Но я не фотограф.

— А я этого и не говорила! — сказала Аделина и нажала кнопку на воротах. — Свои, свои, открывайте! — проговорила она в домофон.

Сверху на столбе я заметил глазок видеокамеры.

Хозяйский дом был двухэтажным, неподалёку от входа — полукруглая стеклянная теплица, за нею гараж, баня, ещё какие-то хозяйственные постройки. Длинная, сложенная из пиленного бруса конюшня стояла чуть в стороне. Я знал, что Коля почти каждый день вычищал из неё навоз, который с удовольствием покупали приезжающие из города дачники. Я уже знал, что для лошадей были отдельные ворота, из которых можно было попасть прямо на берег Ушаковки. Я вспомнил, что на этом месте здесь когда-то было поле, ставились копны и паслись лошади, а у дороги, под огромной крышей, была пилорама, она стояла и сейчас, отгороженная от усадьбы высокими бетонными плитами. Глянув на высокие бревенчатые стены, возведённые вокруг усадьбы, я почему-то подумал, что полевому или таёжному ветру нелегко с ходу взять это препятствие, за которым всё было другим и не здешним: стриженная под бобрик газонокосилкой лужайка, которая поливалась механическими разбрызгивателями (подобную мне впервые довелось видеть на Аляске), непривычные для деревни огромные розы и гладиолусы, и стриженная, завезённая сюда южная туя, живым забором отделяющая лужайку от выложенной цветной плиткой дорожки к крыльцу.

Когда мы шли в дом, автоматически начали зажигаться лампочки и после прохода гаснуть. У порога я снял свои калоши, Аделина Рафкатовна еле заметно улыбнулась.

— Да что вы? Можете не разуваться, — сказала она и, достав мягкие кожаные тапочки, предложила надеть их. Затем провела меня в просторный и непривычный моему глазу зал. На больших, по деревенским понятиям, окнах висела падающая от самого потолка до пола снежная тюль, по краям которой висели утянутые в талии, точно барышни на балу, зелёные шторы. В углу стоял большой плазменный телевизор. Пол застелен паркетной доской — для деревни невиданное дело. Я почему-то вспомнил свой, собранный из толстых деревенских плах пол, подумал: “Что ж, за каждым забором в Добролёте существовало собственное представление о счастье и достатке”.

Со слов Веры Егоровны я знал, что для прислуги выстроен отдельный домик, в нём жила привезённая из города семья: полная, с подозрительными глазами женщина и молчаливый, одетый в военную спецовку её муж.

— Кофе, чай? — спросила Аделина Рафкатовна.

— Лучше чай.

— Чёрный или зелёный?

— Мне всё равно.

Молчаливая женщина подала нам чай. Я стал разглядывать комнату. Даже сравнивать её со своим жильём не было смысла. На стене в дорогой оправе висели картины известных художников. Нашёл знакомые мне полотна Владимира Кузьмина, Владимира Осипова, Алексея Зверева, отдельно висел

постер с картины Эль Греко “Гибель жреца Лаокоона и его сыновей”. Поймав мой взгляд, Аделина Рафкатовна сказала, что сюда она приглашает художников, они живут за её счёт, ходят на пленэр, пишут картины и некоторые оставляют в качестве подарка.

— Как могу, я поддерживаю наших замечательных художников, времена сейчас для творческих людей сложные, цены за краски, холсты задрали выше небес, — сказала Аделина Рафкатовна. — Сегодня они буквально выживают. Скажите, а какие холсты вы используете?

— Льняные, хлопковые, синтетические, иногда дээпэ, — признался я. — Некоторые наброски делаю на ватмане, а дома переносу на холсты. Краски китайские, ленинградские. Вы правы, сейчас всё дорого. Самые дорогие — крупнозернистые льняные холсты, их ещё репинскими называют. Да вот, на таком холсте одна из последних работ, — и я показал ей наброски, которые сделал на реке, ещё до наскока лесника.

— Ой, да это Глашка! — воскликнула Аделина Рафкатовна. — Похожа. Знаете, мне ваша работа напомнила малоизвестного ныне Николая Фишина, его работу “Маленький ковбой”. Он эмигрировал в Америку. Очень даже неплохо. — Аделина Рафкатовна сделала паузу. — Я её у вас возьму. Пятьсот долларов, пойдёт?

Я даже вздрогнул от такого быстрого предложения и той простоты, с которой оно было сделано. Таких денег мне никто и никогда не предлагал.

— Вы знаете, картина ещё не готова, — немного помедлив, ответил я. — Мне ещё над ней работать и работать.

— Воля ваша, — хозяйка не стала меня уговаривать и обвела рукой комнату: — Я гостила у брата в Штатах, кое-что подсмотрела и приспособила под наши реалии. У нас всё не так, всё не устроено. Живём одним днём. Даже своё жильё обустроить не можем. А время пролетает, уходит, как песок сквозь пальцы. Его не воротишь. А потом одни вздохи: куда всё ушло?

— Ну, если мерить по американским лекалам... У них своё, у нас тоже есть что показать.

— Вот, вот, и я о том же! Включите телевизор. Те, кто умеет смотреть вперёд, отдают детей в школы с английским уклоном. Вкладывают деньги и средства в своих детей. А это самое верное вложение. Государству же нет никакого дела до нас с вами. На конкурсах наши дети поют не на русском, а на английском, фильмы иностранные, новые словечки, всё на западный манер. Что своего-то? Существует такое понятие, как “качество жизни”. Надо жить не в хлеву и навозе, а в благоустроенном доме. — Аделина Рафкатовна выпрямилась. — Хочу развивать здесь туристический кластер, а в этом зале, — вновь обвела рукой комнату, — сделать выставку художников и народных промыслов.

— Так привлечете Речкина, — сказал я. — Он много может. Делает из берёсты туески, шкатулки, сумки, плетёт лапти, даже ковбойские шляпы изготавливает.

— К сожалению, он, как и все здешние, выпивает.

— Но ума-то не пропивает, как этот лесник.

— Вы имеете в виду Старухина? — спросила Аделина Рафкатовна. — Знаете, каждому овощу — своё место. Коля хорошо знает и любит коней. Поскольку другого в этой Раскулачихе, кто бы мог подковать лошадей, не осталось. Ещё он разбирается в тракторах. Но я боюсь, напьётся, сядет за рычаги и кого-нибудь задавит.

— Аделина Рафкатовна, я слышал, что Речкин хочет построить часовню и назвать её в честь своего деда.

— Речкин и церковь! Вы шутите? — рассмеялась Аделина Рафкатовна. — Он с похмелья и не такое скажет. Здесь одного желания мало. Нужен проект, деньги, фирма, которая взялась бы за это дело. Одно время он приставал ко мне со строительством мельницы. Теперь очередной заскок. Скажите, может нормальный человек держать в своём доме чучело медведя? Я ему предлагала купить его у него. Мы бы сделали музей чучел зверей, обитающих в наших краях: рыси, лисы, волка, оленя, кабарги, белки, соболя...



Но Речкин отказался. С ним одни скандалы. Недаром говорят, в каждой деревне должен быть свой, как бы вам точнее сказать, недоношенный больной ребёнок.

— У него была непростая судьба, — заступился я за Колю.

— Здесь и других не баловали. Но росли в землю и выжили. Кто не смог, уехал. Человек без земли, что перекаати-поле: куда подует, туда его и понесёт.

Слушая её, я пытался понять, почему одни могут поднять дело, даже в таком заброшенном месте, как этот лесной кордон, а другие живут тем, что Бог подаст. Мне нравилось, что Аделина Рафкатовна, не прячась, говорит мягко, но прямо всё, что думает.

— Народ здесь вроде бы с виду простой—простой, но у каждого своё прошлое. И оно даёт о себе знать. Вы, наверное, заметили, что каждый держит по нескольку коров и бычков. Таких налогов, как были в советское время, нет. И полиции здесь нет, налоговой службы, даже за свет люди не платят. В общем, закон — тайга, медведь — хозяин. Но друг за другом следят почище любых спецслужб. Прошлой осенью в лесочке, неподалёку от дороги, застрелили и увезли деревенского бычка. Кто сделал, неизвестно! А нынче у меня пропала лошадь, алхатекинка. Мне за неё “лендкрузер” предлагали. Я вызвала следователей из города, да и местные егеря пытались помочь. Но воз и ныне там. Пришлось завозить сюда сторожевых собак, для них мы поставили будки на углах. Теперь живём, как в лагере. Сами себя запрятали за стенами и заборами. Чего только для местных я не пыталась сделать! Открыть магазин, аптеку, фельдшерский пункт. Теперь вот художественную галерею...

— Начнёте для местных экскурсии водить?

— Не жить же отшельниками! Это не для демонстрации, это для просвещения. Чтобы исчезло это страшное, доставшееся нам от прежних времён название — Раскулачиха! Только Речкин, внук раскулаченного, мог вдруг запеть, что кулаки на него разобижены, на счастливую долю его! Я про себя подумала, уж не меня ли он имел в виду?

— Да что вы, это же песня! — улыбнулся я. — Коля в армии был танкистом, здесь, на кордоне, он сел на трактор.

— Скрыться от самого себя невозможно, даже в кабине трактора, — поджав губы, сказала Аделина Рафкатовна. — Навязывание своих правил — это неуважение чужих границ и чужой воли. За это всегда приходит расплата.

— Да, порядки здесь жёсткие, — усмехнулась я. — Могут обрезать свет, наехать конём. Так, случайно. Если не могут взломать дверь, залезут через окно. Связать и бросить в подвал. Чуть что, хватаются за ружья. Куда там Техасу или Айове!

— *Dura lex, sed lex* — суров закон, но закон. Что нам здесь, мировых судей держать? Говорят, через страдания приходит понимание. Я ещё раз повторюсь. Пусть каждый делает своё дело, — подытожила Аделина Рафкатовна.

Когда люди переходят на латынь, продолжать разговор ради разговора не имеет смысла. Судье полагается вершить суд, а не создавать право, говорили римляне. Мы друг друга поняли, сверили часы, пора бы и откланяться. Видимо, Коля Речкин начал выпрягаться, она это почувствовала и связала это с моим появлением в деревне. Поэтому и пригласила к себе, чтобы в непринуждённой обстановке, за чашкой чая посмотреть, что за художник объявился в её Раскулачихе. Провожая меня, Аделина Рафкатовна по пути срезала несколько больших красивых роз и подала мне.

— Было приятно с вами познакомиться, — сказала она, глядя мне в глаза. — Если вам что-то понадобится, обращайтесь. А у роз молоточком разбейте кончики стеблей и поставьте в воду. Они долго простоят...

— Спасибо!

*Прошли лета, и всюду льются слёзы...  
Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране...  
Как хороши, как свежи ныне розы...*

— Игорь Северянин? К месту, — похвалила меня Аделина Рафкатовна и, открывая обитую металлическим листом калитку, вздохнула с какой-то непонятной обречённостью: — Как мало людей, с кем здесь можно поговорить! Скоро начнётся учебный год, все разъедутся, и Добролёт задичает. Мы уже взяли Аглае билет. Она выиграла грант, ей пришёл вызов. Наш маленький ковбой будет учиться и набираться ума-разума за океаном в университете Северной Айовы. А Коля Речкин опять запыёт. Его не остановишь. Да, совсем забыла. Спасибо за лайку, я имею в виду Тунгуску. Мне наш лесничий Фомич всё обещал. Но хорошую собаку здесь сыскать трудно.

— Тунгуска не станет сторожевой собакой, — сказал я. — Её нельзя держать дома или на привязи.

— Как и Речкина, — пошутила Аделина Рафкатовна. — Уж он-то знает, как с собаками поступать.

## ЗМЕИНАЯ ГОРА

Отпуск мой закончился в сентябре, я уехал в город, где меня ждала работа. Возвращаясь из рейса, подлетая к городу, я отыскивал Добролёт, крохотную жёлтую точку недостроенной бани и непривычно мелкую, огороженную забором усадьбу Аделины Рафкатовны. Я знал, что Глаша, как она и говорила, уехала учиться в Айову. К Новому году от неё пришло письмо со штемпелями и марками на английском языке. В письме оказалось несколько фотографий Глаши с её новыми американскими друзьями, а к ним приложены летние снимки. На одном из них мы были вместе: я верхом на Умке, а она — на вороном Угольке. А ещё на одной фотографии был вид деревни со Змеиной горы. Ровным ученическим почерком она поздравляла меня с Новым годом, просила передать привет Коле Речкину и сообщала, что очень скучает и обязательно прилетит погостить на зимние каникулы. Больше от неё сообщений не приходило.

После зимних школьных каникул я приехал в Добролёт, и первой новостью, которую мне сообщил Хорев, было то, что потерялся Коля Речкин.

— Ушёл в тайгу промыслить соболя и не вернулся. Такое и раньше за ним водилось. Чего взять с лесного бродяги! Прошёл месяц, другой, все охотники вышли из тайги, а его нет. А потом кто-то сказал, что из тайги прибежали собаки. Милка и Дружок. А самого нет. Промысловики нашли зимовьё, в котором должен был остановиться Речкин. А там пепелище. Наткнулись на сгоревшую “тозовку”. А неподалёку обнаружили ружьё, двухстволку двенадцатого калибра, в стволе всего один патрон. Но самого Речкина не нашли. А вот собаки прибежали. С ними прибежала Тунгуска. Коля её взял для вольной натаски. Она сейчас у Рафкатовны...

И здесь я припомнил, что перед отъездом в город Коля сообщил, что от Шугаева ему пришло письмо, в котором тот просил добыть для его новой молодой московской жены баргузинских соболей.

— Да мне это как два пальца об кровать! — прищурился, похвастал Речкин. — Нынче год урожайный, ореху много. Значит, и соболь есть... Хорев помолчал немного и, вздохнув, добавил:

— Жил — грешно, помер — страшно! Чё сейчас рассуждать, кого-то обвинять — смерть причину найдёт.

Я прислушался к голосу Хорева, стараясь понять, чего в нём больше — сочувствия или осуждения. Всем было известно, что друзьями, товарищами и даже соседями с Речкиным они не были, каждый жил своей жизнью.

Вера Егоровна предложила переночевать у них, поскольку натопить и прогреть мою дачу в сорокаградусный мороз невозможно. Я разделся, достал из рюкзака бутылку “Столичной”, которую прихватил специально для Коли, жестяную коробку с индийским чаем и банку мёда, который специально взял для Веры Егоровны.

— Как-то всё неожиданно случилось, — накрывая на стол, говорила Вера Егоровна. — Вроде токо что был здесь, вышел на минуту и нету больше.

Да его и не сильно-то искали. Аделина за него переживала, для неё он был и швец, и жнец, и на дуде игрец.

— Скорее всего, спалил зимовьё, — выдвинул свою версию Хорев. — Он и на Бадане чудил, дайче спалил несколько домов, даже свою задницу не пожалел. А морозы, как и сёдни, — под сорок. Замёрз где-то по дороге или попал в лапы шатуну. Я тут встретил Рафкатовну. Разговор зашёл про Речкина. Она была очень расстроена и даже напугана. Сказала, такого работника ей не сыскать.

Хорев начал расспрашивать меня про московские новости, я кивнул на шумящий в соседней комнате телевизор:

— Все новости там. Кто женился, с кем развёлся, можно узнать из ящика. Все новости, все сплетни оттуда.

— А как там Шугаев? Не собирается в наши края?

— Живёт, конечно, вспоминает Добролёт, — сказал я. — Сейчас он ведёт на московском телеканале “Книжное обозрение”.

В домашнем тепле под треск горящих в печи сосновых поленьев мы помянули Колю, Вера Егоровна со вздохом посетовала:

— Кто нам теперь дров привезёт? Никто! Никому до нас нет дела.

“Что ж, у каждого есть своя причина пожалеть Колю”, — подумал я, ещё не до конца осознав свалившуюся на меня горькую новость. Был человек и на тебе — нет его! И больше никогда не будет, исчез, испарился, будто и не было его вовсе.

Постелили мне в горнице, на тёплой и мягкой перине. Провалившись в её глубину, я пустился в свои воспоминания, как Речкин отыскал нас в тайге, как они вместе с Глашей принаряженные выехали на лошадях к Ушаковке, крик пьяного егеря, занесённую над ним руку Коли... Действительно, всё было рядом, как в книжке с картинками, только взять и отлистать страницу обратно. И в конце последней я вспомнил, как, уезжая из Добролёта в город, на выезде из деревни я увидел Колю, который выгнал пасти на луг Росомахиных лошадей. Сам он был верхом на Угольке. Стоял тихий, тёплый сухой день, примята солнцем летняя трава пожухла и потеряла свою свежесть, кое-где меж придорожной пыли уже проглядывала серебристая паутина приближающейся осени. Точно ожидая от Речкина какой-то команды, размахивая хвостами, табун держался кучно, перемещаясь вдоль дороги в сторону ближайшего леса. Когда я, проезжая мимо, махнул Коле рукой, он вдруг поднял Уголька на дыбы и, гикнув, поскакал рядом с машиной. И весь табун полетел вслед за ним. Рубашка на Колиной спине вздулась, он, скаля зубы, что-то кричал не то мне, не то лошадям, а может быть, просто хотел в этот момент взлететь вместе с ними в небо...

Утром, встав пораньше, я, пробивая глубокий снежный след через школьную площадку, зашёл к себе на дачу, постоял у книжных полок, глянул на стоящую на подоконнике стеклянную банку, из которой, согнувшись, торчали засохшие стебли подаренного мне Аделиной Рафкатовой букета роз, на полу под окном ждал моего возвращения этюдник, за ним, прислонившись к стене, выглядывал холст с летящей на лошади Глашей. От этого незаконченного рисунка у меня потеплело на душе, точно меня вновь окатило легкой речной водой. Я вспомнил лёгкий её смех, свой первый вечер в этой школе, бродячие по стенам тёмные тени и вздохнул. В комнате было до звона в ушах тихо и пусто, время здесь остановилось и замерло до весны. “Остаётся одно, сесть и попытаться написать тишину”, — подумал я, припомнив Глашин вопрос у костра.

Как это бывало в детстве, я попытался согреть комнату паром изо рта, дыхание вышло тихим, длинным и неслышным. Затем, похрустывая замёрзшими унтами по окрашенному полу, подошёл к полке, отыскал книгу Шугаева “Зима в Пахре”, сунул её в карман, ещё раз obeжав взглядом голые стены, лежащие у печки наколотые дрова, и неожиданно натолкнулся на патефон. Порывшись в стоящий на полу фанерном ящике, я нашёл пластинку с песней Владимира Трошина “Тишина”, затем открыл у патефона крышку, достал ручку, завёл пружину, и через несколько секунд в комнате зазвучал мягкий, тёплый, рассказывающий о чьей-то нелёгкой судьбе голос Трошина:

*Ночью за окном метель, метель!  
Белый беспокойный снег,  
Ты живёшь за тридцать земель  
И не вспоминаешь обо мне...*

Дослушав песню, я закрыл крышку патефона, запер за собой морозную тишину, вышел за ворота и не спеша прошёлся по опустевшей и как бы присевшей под снегом деревне, чтобы подняться на Змеиную гору. Уже на вершине я почувствовал, как в горле начал кататься холодок свежего и колкого, точно просеянного морозом воздуха, про который деревенские, смеясь, говорили: такой лезет в рот колом, и усмехнулся, такой, пожалуй, и чаем не согреешь. Ощущая толчки своего растревоженного подъёмом в гору сердца, я остановился на краю обрыва и глянул вниз. Сверху прикрытая свежавывавшим снегом деревня показалась мне холодной, чистой и пустой. Расчётливая зима оставила для себя всего лишь две краски, чтобы тёплые дымки печных труб удержали на весу тяжёлое зимнее небо и застывшую на время эту забытую Богом землю. Уже без Коли. Внизу, у самой подошвы горы, где, скатившись с горы, дорога выпрямляла идущую вдоль Ушаковки в сторону города коротенькую деревенскую улицу, всё так же без единой пометки, закутанный в белое одеяло, стоял Колин дом. Глянув через левое плечо, чуть ли не под ногами обнаружил висевший на длинных прогнутых канатах заснеженный мостик. Я попытался представить, где и в каком месте сегодня, сейчас находится Николай Речкин или его широкая, непонятая многими, бродячая душа.

Откуда-то из самой глубины души, с самого доньшка, до меня донёсся его хрипловатый голос:

*На висячем мостке над речушкой  
Целовал я любимой веснушки...*